



В. Прокофьев

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ

Простая телега, запряженная выдавшей виды почтовой лошадкой, глухо громыкает по булыжнику. Улица круто взбирается в гору. Над ней нависает крепостная стена Нижегородского детинца.

В телеге двое молодых людей. Один в очках, с длинными, заложенными за уши волосами. Другой — круглолицый, коротко стриженный.

Их пыльные пальто, усталый вид напоминают о дальней дороге, бесконечных ухабах, бессонных ночах.

Раннее утро первого дня августа, свежее, ласковое, папоеенное запахами лета и прохладой, веющей от большой реки.

Кучер привычно взмахивает кнутом, дергает вожжи: «Но... но же!», однако лошадь не ускоряет шага.

Наконец кончилась гора, лошадь пошла быстрее. Седоки вematриваются в приземистые деревянные дома.

Кажется, этот!

Молодой человек в очках спрыгивает с телеги, бежит к дверям и, не найдя колокольчика, сильно стучит кулаком.

Заспанная кухарка кивает головой куда-то в глубину дома.

Молодые люди проходят во флигель. На пороге в распахнутом халате их встречает черноволосый человек лет двадцати. Он радостно смеется, хватается за объятия гостей и тащит в комнаты.

— Господи, Чернышевский! Да каким счастливым ветром вас занесло в этукую, выражаясь высоким стилем, юдоль провинциального свинства, грязи, скуки?

— Погодите, погодите, друг мой! Прежде всего мы просим снисхождения за столь раннее вторжение, затем объявляем вам, что пробудем в сей провинциальной юдоли два дня, и, в-третьих, познакомьтесь, мой кузен — Саша Пыпин.

— Я рад, очень рад. Михайлов, Михаил Илларионович!

Пыпин в продолжение этой сцены с интересом рассматривает Михайлова, о котором столько слышал от своего брата. Так вот он каков поэт, ходячий справочник по зарубежной литературе, знаток европейских и неевропейских языков и писец 1-го разряда Нижегородского соляного управления.

Он невысок ростом, очень строен, скорее даже худ, невероятно подвижен. Но больше всего Пыпина поражает лицо Михайлова. Оно просто страшно: черные густые брови крутыми полукружьями обрамляют узкие, разрезанные по-калмыцки глаза. На них тяжело навалились красноватые веки. Для того чтобы открыть глаза, Михайлов поддерживает брови, поэтому его лицо все время перекашивается гримасами. Большие очки только отчасти скрывают этот недостаток. Пыпин знает, что Михайлов в детстве перенес операцию век. Операция позволила ему видеть, но, конечно, он остался обезображенным на всю жизнь.

Черные-черные с отливом волосы и на редкость красные губы.

В сером халате в сумраке мезонина он напоминает летучую мышь. Пыпина даже передернуло.

Зато голос у Михайлова такого приятного, звучного тембра, что хочется слушать и слушать.

И он говорит без умолку, быстро, образно, остро.

Извинившись перед братьями, Михайлов на минуту скрывается в спальне и выходит оттуда уже без халата, в сильно поношенном сюртуке, сидящем на нем, однако, безукоризненно.

Чернышевский хватается друга за объятия, всматривается, смеется:

— Ты все такой же франт, а я, брат, по-прежнему попович. Знаешь, Саша, как мы познакомились с ним в университете?

И, не дожидаясь, когда Пыпин скажет «знаю», Чернышевский уже в который раз с удовольствием рассказывает, как на первой же лекции Михайлов обратил внимание на бледненького близорукого студента в сереньком форменном сюртуке.

— Вы, вероятно, второгодник? — спросил он меня.

— Нет, — говорю, — а вы, должно быть, судите об этом по сюртуку?

— Да.

— Так он с чужого плеча. Я купил его на толкучке.

Михайлов смеется раскатисто, заразительно, Чернышевский — сдержанно, но глаза его светятся радостью.

С этого сюртука началось знакомство, которое теперь, с годами, стало тесной дружбой людей с одними мыслями, одними целями, едиными взглядами на жизнь.

— Но тебе пора в управление; — Чернышевский говорит Михайлову то «ты», то «вы».

— Как бы не так! Пока вы у меня, я для управления не существую. Скажусь больным...

— А поверят? — с опаской спрашивает Пыпин.

— Ха! Обязаны поверить представителю благородного российского дворянства, потомку князей.

Пыпин смотрит на Михайлова с недоумением.

— Да, ваш кузен, наверное, и не знает, что по линии матери я прихожусь внуком генерал-лейтенанту Уракову, «киргизскому» князю, а со стороны отца — я потомок крепостных. Вот и получается, что слову князя в соляном управлении поверить обязаны, ну, а как крепостная бестия, я могу и обмануть начальство.

Пыпин только теперь понял, почему у Михайлова такой косой разрез глаз.

Все, что он сейчас услышал, пробудило любопытство.

Между тем Чернышевский разгружал телегу от домашних припасов, которыми его заботливая мать снабдила братьев на дорогу.

За завтраком, затянувшимся далеко за полдень, Михайлов и Чернышевский настроились лирически и все больше вспоминали свои петербургские дни.

Михайлов говорил о них с грустью человека, для которого Петербург только прошлое, Чернышевский, вспоминая столицу, мысленно был уже в ней, забыв о Саратове, с которым так недавно и с таким сожалением расставался.

Михаил Илларионович с большим юмором рассказывал, как в 1846 году он отправился в Петербург, дабы поступить в университет. Гимназии ему окончить не пришлось, а посему предстояло выдержать вступительный экзамен.

Михайлов блестяще провалился, будучи плохо подготовленным по курсу казенных наук, и должен был довольствоваться местом вольнослушателя.

— Вы знаете, моя петербургская жизнь напоминает мне гору, по которой вы добирались сюда. И я катился с нее неудержимо вниз. Прибыл в столицу таким фертом. Квартину снял на Невском, у своего же бывшего гувернера-француза. Платье от лучшего портного. Но истратился быстро и перебрался на Гороховую, но и на этом склоне не удержался, а скатился к самому концу Вознесенского проспекта. Денег после смерти батюшки совсем не осталось. Вотчин у выслужившегося вольноотпущенного крестья-

пина не было, а детишки были, были и кое-какие долги. Так на Вознесенском и завершилась моя карьера студента.

Чернышевскому в этих словах слышатся горечь, сожаление об университете. А стоит ли он того? Михайлов слишком недолго пробыл в его стенах, и поэтому ему и по сей день представляется, что это храм науки. А на деле — та же казенная богадельня или скорее казарма, из которой изгнано все живое. Казарма и канцелярия — вот опора наук. И, конечно, священное писание. Оно неистребимо, им прикрывается убожество чинуш в профессорском звании, оно, как талисман, охраняет от крайностей, столь нетерпимых правительством.

— Поверите ли, ведь так же, как и в двадцатых годах, некоторые, с позволения сказать, профессора определяют гипотенузу в прямоугольном треугольнике как «символ сретения правды и мира, правосудия и любви через ходатая бога и человека, соединившего горнее с дольным, небесное с земным». Вот и выведите отсюда катеты! — под общий хохот заканчивает Чернышевский. Да, но что приобрел Михайлов, устроившись через дядюшку писцом в соляное управление? Если смотреть с точки зрения чиновничьей карьеры, то он преуспевает, как всякий добросовестный служака, которому совершенно чужды интересы порученного дела. Из писца 1-го разряда его в феврале этого 1850 года произвели в коллежские регистраторы, а в ближайшем будущем ему обещана должность столоначальника.

Но разве к этому он стремился, для этого изучил почти все европейские языки, западную литературу?

Нет, его поприще — изящная словесность, поэзия.

Чернышевский заметил, как постепенно к концу завтрака Михайлов стал задумчивее, он уже реже омеется.

— А как ваши занятия поэзией, беллетристикой? Кое-что из переводов ваших мы читали в «Литературной газете», рассказы в «Иллюстрации» и даже, как ни странно, в «Москвитянине».

Михайлов оживился. Значит, Чернышевский все

время следит за его работой, его стихи, переводы из Гейне, Гёте не прошли незамеченными?

Это льстит самолюбию поэта. А он самолюбив, хотя и добр до бесконечности.

И как это Николай Гаврилович не понимает, что печататься в «Москвитянине» его заставляют свирепости цензуры. Ведь «Литературную газету» прикрыли, что же прикажете делать? А идейно он чужд всеядному «Москвитянину», который все более и более склоняется к «искусству для искусства».

Чернышевский в этом не сомневается. Он на всю жизнь останется благодарным Михайлову за тот, так сказать, первый толчок на пути к развитию, который дал ему Михаил Илларионович.

Друзья смеются, когда хозяин рассказывает, как Михайлов, значительно раньше, чем Чернышевский, освободившийся от религиозных предрассудков, яростно нападал на попов и вообще на духовенство, а потом, вспомнив, что Николай Гаврилович происходит из семьи священника, очень любит и уважает своего отца, тут же просил прощения, ходил целый день мрачный и злился на себя.

Сейчас это все в прошлом, над этим можно только посмеяться, а тогда это была трагедия начинающейся дружбы.

Михайлов стольким обязан Чернышевскому. Да, да, это не лесть и не красивые слова. Если бы не его ободряющие письма сюда, в Нижний, если бы не его энергия, которой хватало на многих, то он, наверное, бы спился, бросил к черту всякие занятия и сделался бы прозябающим тунеядцем.

Он и сейчас иногда испытывает приступы апатического отчаяния. Чем сильнее он любит свою родину, чем полнее осознает свои обязанности гражданина, тем бездоннее кажется ему та пропасть, в которую царизм влечет Россию. И он не знает, как убедить отчизну.

Чернышевский слушает внимательно, изредка поглядывая на брата. Для Пыпина такие речи в новинку, и вообще для своих лет он слишком благонамеренно настроен.

А вот Михайлов?

Тот и в университетские годы был проникнут духом просветительства и демократизма. Видимо, не перебродила в нем кровь деда. Да и дай бог, чтобы не перебродила никогда.

«Какими разными путями, — думает Николай Гаврилович, — люди приходят к сознанию необходимости борьбы?» Сам он шел через историю, через знакомство с петрашевцем Ханыковым, наконец, через те события, которые так недавно и так трагично завершили французскую революцию 1848 года.

А у Михайлова революционная идея впиталась в душу с детскими рассказами няни и тетки — бывшей крепостной, с семейным преданием о деде Михаиле Максимовиче, крепостном симбирской и оренбургской помещицы Надежды Ивановны Куроедовой. Это ее изобразил С. Аксаков в «Семейной хронике» под именем Прасковьи Ивановны Багровой.

После смерти Куроедовой Михаил Максимович должен был получить вольную.

Но он не знал, как оформляется «вольная бумага», и наследники помещика его закрепили вновь. Михаил Максимович протестовал. Его наказали. Наследник Куроедов вообще отличался жестокостью невообразимой, и кто-то из крепостных отравил «изверга». В село была введена воинская команда. Скорый суд, и Михаил Максимович в остроге. Там его засекли насмерть.

Чернышевский не раз слышал эту жуткую историю от самого Михайлова, не скрыл от него друг и завещание отца: «чтоб он помнил историю своего деда, никогда не делался барином и стоял за крестьян».

Нет, Михайлов не стал барином. Хотя его отец был отпущен на волю, выслужился и получил дворянство для себя и своих детей, но Михаил Илларионович никогда не забывал поколений предков — крепостных крестьян. Не забыл он и наставлений первого учителя — ссыльного студента; тот говорил «о господстве зла на земле, о необходимости непримиримой

вражды к нему, о святости борьбы, страданий и гибели за благо родины и человечества».

В далекой Илецкой защите, где прошло его детство, был каторжный соляной карьер. Каторжники были для мальчика людьми из внешнего мира, каторжники стали и его первыми друзьями.

А ведь среди них было так много схожих судьбою с дедом. Омерзительные условия крепостнической неволи превратили их в каторжан. Это он понял очень рано и уже никогда не забывал.

* * *

Михайлов очнулся от невеселых дум. Он совсем забыл, что у него гости, хотя гости чувствовали себя как дома. После долгой, утомительной дороги, волнений встречи они спали спокойным сном молодости.

А когда вечерняя заря отбросила причудливые тени на вершину крутого берега, сползла вместе с ними к воде и тени преломились, стали струиться в тихих всплесках волжской воды, Михайлов, умывшись, переодевшись, растолкал братьев.

Вечер располагал к душевной беседе.

Чернышевский попросил Михайлова почитать что-либо новое из того, что он написал в последнее время. Зажгли свечи. Пыпин по старой, детской привычке забрался с ногами в кресло, Чернышевский опустил голову на руки.

Михайлов читал превосходно.

Это была только что оконченная комедия «Тегушка». Тунеядцы из дворян, творящие произвол и насилие попеременно с молитвой, проходимцы попы осмеивались с поистине вольтеровским сарказмом. Чернышевский отметил про себя, что перо Михайлова в этой комедии резко заострилось. Он вспомнил ранние стихи поэта, их мягкость, душевную лирику. Куда там! Злая сатира! И какое великолепное знание помещичьего и крестьянского быта, как будто комедия списана с натуры!

Хотелось слушать и слушать, смеяться и плакать.

Михайлов кончил. Встал, открыл ящик комода

и, приподняв белье, засунул рукопись на дно. Пыпин удивленно посмотрел на брата. Чернышевский хорошо понимал Михайлова.

Эту комедию цензура не пропустит. И тут же у него появилась мысль взять рукопись с собой в Петербург, прочесть ее в кружке Иринарха Введенского, где собиралась демократически настроенная молодежь, литераторы, журналисты, педагоги.

Михайлов согласился.

Он подготовил для друзей сюрприз «на закуску». Оказывается, им начата большая повесть. Пока он не знает, как она будет называться, условно — «Адам Адамыч». Написана только первая глава, и если слушатели не устали, то он прочтет ее.

Пыпин поудобнее усаживается в кресле.

Провинциальный уездный городок Забубеньевск. Местное «общество», гоголевские типажи, так и отдает запахами шинели Акакия Акакиевича. Полемически остро, с издевкой описываются ахи и вздохи романтических «пустышек». И с какой силой, как реалистично он изображает мерзости жизни, пороки помещиков и чиновников, их скотское существование!

Чернышевский просто в восторге. Михаил Илларионович обязан как можно скорее закончить повесть.

Какое дарование, какой острый взгляд! Нет, этому маленькому человеку уготована большая будущность.

Спустя день телега увозила братьев в Петербург. Михайлов долго шел рядом, слушая, как Чернышевский развивает планы его, Михайлова, переезда в столицу, с тем чтобы выдержать испытательные экзамены и с помощью Чернышевского, друзей получить преподавательское место.

Михайлову и хочется верить и не верится в проекты друга, только он знает одно — преподавателем ему не быть.

* * *

«Адам Адамыч» увидел свет только в следующем, 1851 году и имел огромный успех. Повесть была замечена критикой, вокруг нее разгорелись дебаты. М. Погодин, издававший «Москвитянина» и познако-

мившийся с Михайловым в одну из поездок на ярмарку в Нижний, был и сам не рад, что напечатал ее.

«Современник» встретил «Адама Адамыча» хвалебной статьей: это замечательное произведение, автор его обладает «дарованием несомненным». Зато А. Григорьев, критик того же «Москвитянина», злобно шипел: Михайлов «ударился в крайность».

Григорьеву не по душе, что повесть написана поголовски, что автор выворачивает наизнанку всю мерзость крепостной действительности и бичует ее, заставляя читателя горько смеяться. С точки зрения Григорьева, это не искусство.

Родственник Михайлова В. Даль, через которого, собственно, и произошло знакомство Михаила Илларионовича с Погодиным, счел своим долгом отписать к издателю письмо с извинениями за автора. Кто же знал, что он создаст эту «непристойную», «грязную» повестушку?

Успех открылил Михайлова. Он вошел в литературу и может жить на гонорары!

Прощай, соляное управление, должность столоначальника и Нижний Новгород. Его место в центре, в Петербурге.

Начальник соляного управления не удерживал Михайлова. Но, узнав, что тот собирается выйти в отставку в двадцать три года, при чине губернского секретаря, был потрясен. Потерять казенное место? Жить неизвестно чем и как! Нет, он положительно не понимает современную молодежь.

А отставной губернский секретарь уже в столице.

Обидно, что Чернышевский вернулся в Саратов и преподает в гимназии.

Ничего, теперь Михайлов будет вытаскивать друга из «саратовской глуши». А пока, в письмах, они будут делиться мыслями и настроениями. Их переписка такая же теплая, откровенная, как и раньше. Михайлов советуется с Чернышевским. От него получает характеристики людей, с которыми следует в первую очередь познакомиться.

Михайлов жалуется на трудности. Оказывается,

не так-то просто обеспечить себе сносное существование литературными заработками.

А ведь, чего греха таить, писатель любит комфорт, любит хорошо одеться, у него есть страсть — книги. На них тратится уйма денег.

Но Михайлов необыкновенно трудолюбив, прямо-таки «рван к работе». Он готов сидеть день и ночь; издатели ценят его аккуратность, добросовестность. Он никогда не подводит. Это так неожиданно и так приятно!

Михайлов не хочет заниматься литературной поденщиной ради денег. Он помнит заветы Белинского, которого так тщательно, с таким восторгом и прекло-нением изучал в годы «нижегородского соления».

Настоящий писатель прежде всего учитель. А журналы, книги — его кафедра, его трибуна. И нечего с этого помоста проповедовать «плаксивое бессилие», восторженно сюсюкать над цветочками и лепестками или слюняво негодовать на пороки, которые волею самого же писателя наказуются, — добродетель, конечно же, торжествует.

Нет, писатель должен обладать «силой поэтического чувства, глубоким, сердечным пониманием лишений и нужд, печалей и радостей народных».

Вокруг царят произвол и насилие, невежество и надругательство над всеми и всяческими человеческими правами. Значит, долг писателя, долг литературы вмешиваться в эту жизнь, бороться с «дикостью, произволом, невежеством». Пока идеалы поэта — расплывчатое марево чего-то светлого, счастливого, торжество разума, просвещения, справедливости. Мир должен быть обновлен, в нем должны господствовать «любовь и истины законы». Он и теперь и всегда демократ. Его слово, его стихи, вся его жизнь, если понадобится, принадлежат народу.

И Михайлов пишет, пишет, пишет.

Он удивительно плодит. Стихи, переводы, повести, рассказы...

Он пересматривает свое «литературное прошлое». Первые его стихотворные опыты кажутся теперь «эпигонскими». Стишки — «пустыми, слезливыми».

Ему давно стали чужды романтические настроения героя с душой «печальной и холодной».

И в эти мрачные дни 1852 года, когда цензурный гнет не позволяет сказать ни одного живого, гневного слова, Михайлов отказывается от «чистой лирики» и обращается к политической теме.

Прощание с прошлым, с романтикой не было овеяно грустью. Поэт издевается над «чувствительным романом», место которого не на полках книг, а под подушкой слезливой захолустной мещаночки.

Он пишет злую пародию на себя в прошлом и на лирику Фета — «чувствительный» роман «Камелия».

Пока хватит лирики. Быть может, потом, когда-нибудь, он и вернется к ней, а сейчас переводы, гражданский пафос и проза, проза!

* * *

Петербургский день наступает обычно поздно. Михайлов же привык вставать в семь утра и работать на свежую голову. Вот и сегодня. Утро еще не занималось, а на столе потрескивает свеча. Откинувшись на спинку кресла, он, как школьник, готовящийся к экзаменам, проверяет себя. Готов ли он к предстоящей встрече?

Встреча не с кем-нибудь, с Некрасовым!

Сколько дум, поисков, чудесных взлетов фантазии и тяжелых переживаний гражданина, патриота вызывает это имя! Ведь Михайлов пытался подражать Некрасову. Его «Охотник», «Современный гидальго» не что иное, как некрасовская тема разоблачения бесправия крестьян и ужасов крепостничества. Но разве ему угнаться за этим колоссом? И к тому же он чувствует в себе достаточно сил, чтобы идти своей дорогой.

Некрасов стоит во главе «Современника». Что бы там ни говорили, а это лучший журнал России. Печататься в нем — большая честь для писателя. Вот когда литератор действительно обретает трибуну.

В приемной редакции «Современника» Михайлов встретил Панаев, который формально был издателем журнала.

— Некрасов выйдет через несколько минут.

И действительно, вскоре в кабинет вошел мужчина, еще молодой, лет 30—32, немного сгорбленный, с опущенными плечами. Его слабые шажки, невнятный тихий голос, опавший стан поразили Михайлова. Он представлял Некрасова другим, во всяком случае могучим, с развернутой грудью, вроде былинного героя.

Некрасов тепло отозвался об «Адаме Адамыче», рассказах и стихах Михайлова. Этот хилый, больной человек обладал удивительной способностью видеть в людях самую сущность их души, умением определять будущее людей. И он редко ошибался.

Поэтому так просто, так откровенно складывалась их беседа. Отныне Михайлов может всегда рассчитывать на то, что его переводы, критические статьи и беллетристические произведения с радостью будут встречены редакцией «Современника» и на страницах этого журнала они всегда найдут место.

Некрасов разглядел в Михайлове не только незаменимого сотрудника, но и человека, искренне и горячо преданного интересам и успехам «Современника».

Это был друг журнала, и ему суждено было стать другом тех, кто его издавал.

* * *

Чернышевский писал из Саратова, что его карьера преподавателя гимназии окончилась печально и что через некоторое время он собирается перебраться в Петербург. Михайлов всячески поддерживает Николая Гавриловича в этом стремлении. Тем более что Михайлов успел познакомиться со многими интересными людьми, которые будут полезны для Чернышевского, и прежде всего с издателями и писателями — Я. Полонским, поэтом и переводчиком Н. Гербелем, А. Писемским, А. Майковым и — что, конечно, самое важное — с И. Тургеневым.

Михаил Илларионович чувствовал, что все к нему хорошо относятся, помогают, чем могут, и, не зная, чему это приписать, считал, что его новые знакомые

какие-то необыкновенные люди. Между тем его собственное душевное обаяние, доброта привлекали к нему людей. Чернышевский прямо говорил, что «не любить его нельзя, потому что у него слишком доброе сердце».

В присутствии Михайлова, зараженные его «успокоительной мягкостью», «внутренней красотой», люди становились как будто добрее, приветливее. Литературная молодежь, в круг которой Михайлов очень быстро вошел, с восторгом отнеслась к этому человеку, готовому всегда «жертвовать собою для других, для тех идей, которые он считал справедливыми и гуманными».

Чернышевский приехал в столицу в начале мая 1853 года с молодой красавицей женой, счастливый и опечаленный. У него внезапно умерла мать.

Николай Гаврилович решил избрать себе ученую карьеру. Он будет готовить магистерскую диссертацию, хотя тема пока еще не уточнена.

Михайлов рад за друга, но в душе уверен, что Чернышевский так или иначе займется журналистикой. Ведь он такой тонкий ценитель литературы, так хорошо умеет видеть в явлениях искусства явления жизни. И только журналистика поможет ему высказать те передовые мысли, которыми, как знал Михайлов, Чернышевский переполнен.

Михаил Илларионович, как человек очень подвижного ума, впечатлительный, увлекающийся, не только работал и работал до одури, но и старался впитать в себя все то новое, что давала ему столичная жизнь. Он исследовал характеры, справедливо считая, что писатель должен работать по методу ученого и объектом его исследований должны быть характер и душа людей. А души и характеры — разные. Например, эти «шалопай» Яков Полонский, Александр Дружинин, Дмитрий Григорович. Они частенько устраивают холостые пирушки, балы, веселые ужины.

Михайлов с ними. Он смеется, острит и мистифицирует дам, которых называет почему-то «доннами». И наблюдает, наблюдает, чтобы потом воплотить

в образах увиденное. «Донны» уверены, что этот веселый, остроумный поэт страшный сердцеед. Михайлов их не разубеждал, наоборот, где-нибудь на балу, уединившись с «донной», он по секрету рассказывал об очередном своем походе, тут же экспромтом сочинял стихи, якобы посвященные даме сердца, а потом с усмешкой наблюдал, как сказанное «по секрету» становилось достоянием всех.

А за заставами Петербурга, за околицей «большой деревни» — Москвы, на необозримых пространствах Российской империи, там, где не читали стихов и не умели вообще читать, в курных избах и вонючих фабричных бараках, на барщине и в рудниках свершалось то новое, что так волновало передовых людей России, о чем спорили в литературных салонах, перед чем дрожали дворцы: свершалась гибель старого, крепостнического строя и вызревали новые, более прогрессивные буржуазные отношения.

Крепостной строй трещал по всем швам, трещал уже более полувека. И как ни старался царизм замазать трещины, поддержать покосившуюся громаду всевозможными административными полумерами, она оседала и оседала, угрожая похоронить под своими обломками и монархию, и помещичье землевладение, и всю сложную перепутавшуюся военно-бюрократическую надстройку.

Сто тысяч маленьких и покрупнее «князьков», «царьков» — помещиков — подгребли под себя почти всю удобную для пахоты землю. Они владели не только землей, владели они и «крещеной собственностью» — крепостными крестьянами. Крепостной, посаженный на участок помещичьей земли, был основой благосостояния своего барина. Он же поил и кормил, одевал и набивал деньгами кошелёк всего класса дворян, на его плечах держалось здание помещичьей империи.

Крепостной своим инвентарем обрабатывал помещичью землю. И работал недобросовестно. На барщину его выгоняли палкой, его приковывали цепями

к плугу, надевали ему на шею деревянные колодки с острыми гвоздями, чтобы он не мог прилечь, вместо того чтобы пахать, сеять, косить, убирать.

У него был участок земли, который он не мог обрабатывать, так как помещик оставлял ему для себя только ночь. И он жил впроголодь, питался корой, умирал. И не мог уйти от помещика, так как был его вещью, собственностью. Его пороли, над ним измывались потехи ради, его продавали и покупали, меняли на борзых, дарили в придачу к каретам, лошадям, собакам.

Так было издревле.

Но и в вонючей, клопиной деревне совершенствовалась техника, росли рыночные связи, возникала кустарно-промышленная деятельность.

Россия не могла отставать от века, но она отставала. А век XIX был уже веком бурного развития капиталистического производства в таких странах, как Англия, Франция. Фабричные трубы росли быстрее колоколен, и заводские гудки раньше колоколов будили сонные города.

И в России, несмотря на яростное сопротивление царизма вкупе с помещиками, строились железные дороги, возникали промышленные предприятия. Товарно-денежные отношения врывались в натуральные хозяйства, заставляя помещика изыскивать новые источники получения денег.

Помещик стал производить хлеб на продажу. Стремясь получить как можно больше этого хлеба, он усиливал эксплуатацию крепостного, сгонял его с наделных участков земли, распахивал их, тем самым подрывая самую основу натурально-крепостнического хозяйства — «наделение основного производителя земель».

Не все помещики могли приспособиться к товарно-денежным отношениям. Многие разорялись, закладывали и перезакладывали свои земли, продавали их разбогатевшим крестьянам или купцам.

Усиление феодального гнета, обезземеливание мужика усиливали и крестьянское движение.

Неуклонно из года в год число крестьянских волнений росло. То там, то здесь, то в Пензенской, то в Орловской, в Курской и Казанской губерниях, в Прибалтике и Белоруссии крестьяне поджигали помещичьи усадьбы, убивали бар, растаскивали инвентарь, зерно. Крестьяне убегали от своих хозяев или, собравшись воедино, вдруг предъявляли властям требование заменить чиновничье управление мирским, крестьянским.

Вопрос о крепостном праве стал главным вопросом — вопросом номер один — в царствование Николая I. Царь и его присные понимали, что крепостное право — это пороховой погреб у подножья трона, и вся вторая четверть XIX века ушла на то, чтобы как-то решить этот «проклятый крестьянский вопрос». Но решить его можно было, только уничтожив крепостничество, передав землю крестьянам. А разве на это могли согласиться царь и помещики? Они не хотели даже куцых реформ. Хотя реформы — это путь, уже опробованный Западом.

Но был и другой путь, путь революционный. И на этот путь звали крестьян революционеры-демократы — Белинский, Герцен, Огарев. О необходимости революционным путем, крестьянской революцией решить «крестьянский вопрос» уже в начале 50-х годов думал и Чернышевский.

Крестьянской революции страшились дворяне, ее призраком всю жизнь преследовал царя.

А революционные штормы в Западной Европе прибывали к русским берегам обломки корон, изодранные порфиры. Рушились троны, стоявшие столетиями, и чтобы русское самодержавие могло «властвовать внутри страны, царизм во внешних сношениях должен был не только быть непобедимым, но и непрерывно одерживать победы, он должен был уметь вознаграждать безусловную покорность своих подданных шовинистическим угаром побед, все новыми и новыми завоеваниями»¹.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 29.

* * *

И грянула война. Восточная война с Турцией. Николай I рассчитывал быстро расправиться с этим «больным человеком» и был уверен, что Англия не выступит, а Франция без Англии промолчит. Об остальных он не беспокоился.

Но его расчеты не оправдались.

Отсталая, крепостническая Россия осталась с глазу на глаз с передовыми капиталистическими странами. Это была безнадежная война. Но в начале ее не многие понимали, чем она должна закончиться, и шовинистический угар охватил общество.

В литературных салонах распевали песенку Вильбоа на слова неизвестного автора:

Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом.
Вдохновлен его отвагой,
И француз за ним туда ж,
Машет дядюшкиной шпагой
И кричит: «Allons, courage!»
Полно, братцы! На смех свету,
Не оставайтесь в дураках,
Мы видали шпагу эту
И не в этаких руках.
Если дядюшка бесславно
Из Руси вернулся вспять,
Так племяннику подавно
И вдали несдобровать...

Талантливые и бесталанные карикатуристы изощрялись в изображениях Наполеона III, Пальмерстона, турок и англичан, газеты были заполнены урапатриотическими гимнами.

А Россия, крепостная Россия шагала на войну, на убой.

Михайлов болезненно переживал за русского мужика, идущего воевать «неведомые палестины». Его отрывали от земли, от семьи, чтобы он сложил голову свою неизвестно где и неизвестно за что.

Поэт зло высмеивал историю с ключами от Вифлеемского храма, которая якобы и стала причиной войны, он обрушил свой гнев на головы тех, кто, на-

пившись и нажравшись до икоты на торжественных банкетах во славу русского воинства, пел гимн царскому солдату и «солдатскому» царю:

Спалí, господь, своим огнем
Того, кто в этот год печальный
На общей тризне погребальной,
Как жрец, упившийся вином,
В толпе, рыдающей кругом,
Поет с улыбкою нахальной
Патриотический псалом.

В эти дни Михайлова потянуло опять к переводам. И он начинает регулярно заниматься ими. Среди множества западноевропейских поэтов он отыскивает таких, которые по настроениям, мыслям близки ему.

И прежде всего обращается к Бернсу.

«К полевой мыши, разоренной моим плугом»,
«К срезанной плугом маргаритке» — ведь это о пахаре, о труженике, который сеет и который гибнет, как беспомощный полевой цветок.

Он ищет поэтов, которые бичуют своими стихами тех, кто порождает нищету и утверждает бесправие. Михайлов против тех, кто «едет», и за тех, кто «везет». Он прямо называет себя «певцом скорбей людских»:

Его скорбеть учило зло —
Тиранство — стон раба —
Столица — фабрика — село —
● Острог — дворцы — гроба.

Михайлова тянет к людям, которые так же, как и он, хотят докопаться до источника всех бед, обличить эти несчастья, перестроить жизнь, — хотя он еще не знает как.

А таких людей становилось все больше и больше.

* * *

Николай Васильевич Шелгунов, офицер корпуса лесничих, как, впрочем, и вся провинциальная молодежь, стремился поскорее вырваться из Самары, где он служил при управлении казенными землями, и уехать в Петербург.

И не потому, что ему нужен Петербург, а потому,

что он сам может понадобиться столице. Его стремление разделял и чиновник удельной конторы, восторженный поклонник русской старины П. П. Пекарский.

Он называл Петербург «единственной точкой России, где можно жить», мечтал бросить службу чиновника и отдаться историческим изысканиям, а также окунуться в атмосферу борющейся мысли. Пекарский был неутомимым «коллекционером» замечательных людей.

В 1851 году Шелгунов и Пекарский, наконец, вырвались в Петербург.

Пекарский стал для Шелгунова своеобразным фатумом, перстом судьбы. Это он открыл ему Чернышевского. Хотя первое впечатление от встречи с Николаем Гавриловичем было у Шелгунова смутным. Весь вечер кто-то говорил, но не Чернышевский. А он односложно поддакивал «да-с» или «нет-с» и потом быстро ушел.

Шелгунов под влиянием жены Людмилы Петровны решил создать свой маленький салон, в котором могли бы встречаться интересные люди, где можно было говорить без обиняков, салон, в который слетались бы и где оседали новые идеи, контрабандой перебирающиеся из-за рубежа.

Людмила Петровна Шелгунова прекрасно подходила к роли «русской Рекамье», как величали ее злые языки, желая уязвить эту живую, общительную, хотя и далеко не красивую молодую женщину.

В просторной квартире гостеприимной хозяйки вскоре появились музыканты. Людмила Петровна великолепно играла на рояле и была тонкой ценительницей музыки.

Пекарский, живший тут же, в квартире Шелгуновых, убегал в Публичную библиотеку, так как музыка мешала ему работать. Николай Васильевич терпеливо слушал, хотя предпочел бы, чтобы комнаты были наполнены не звуками рояля, а голосами спорящих.

Но Людмила Петровна быстро соскучилась в обществе музыкантов и как-то пожаловалась на это Пекарскому.

— Ах так, прекрасно! На днях мы едем в маскарад, в Благородное собрание.

— Ну что же я буду там делать?

— Интриговать, и я вам скажу кого.

Пекарский рассказал, что встретил на днях своего земляка, с которым был знаком в Уфе, когда тот держал экзамен за гимназию. Это беллетрист, сотрудник «Современника» и «Отечественных записок» — Михаил Михайлов.

Все было обставлено так, как этого требуют маскарадные интриги. Михайлов получил раздушенную записку на французском языке и в назначенный день был на Литейном. Он знал только пароль: «Уфа».

И «Уфа» появилась. Она болтала без умолку, рассказала поэту о его родных, знакомых, вспоминала улицы, перемывала косточки всем уфимским барышням, а потом благополучно скрылась.

Михайлов был заинтригован. На следующий же день он отправился к Пекарскому, чтобы вместе с ним выяснить лицо таинственной маски.

«Коварный антиквар» предупредил Шелгунову, и она, стоя за дверью, слышала все, что говорил поэт. Петр Петрович Пекарский хохотал до безумия, но Михайлов так и не догадался, что эта интрига его рук дело.

Шла зима, маскарады продолжались, и та же маска уже трижды успешно интриговала поэта.

Но вот однажды на балу, в том же Благородном собрании, оказался Чернышевский с Ольгой Сократовной. Чернышевский быстро разгадал маску, и знакомство Михайлова с Шелгуновой состоялось. Оно очень скоро перешло в дружбу.

Михайлов жил вместе с Яковом Полонским, не имел от него секретов, поверял ему все свои мысли, горести и печали.

Поверил и свою любовь.

Нет, нет, это не мимолетное увлечение, не интрижка. Он влюблен, влюблен в Шелгунову и чувствует себя преступником перед Николаем Васильевичем. А у него с ним великолепные, дружеские отношения,

близость духовная, идейная. Он просто в растерянности. Может быть, Полонский ему поможет?

Полонский старался излечить друга от этой любви. Людмила Петровна казалась ему женщиной холодной, кокеткой, которая не прочь вскружить и ему, Полонскому, голову. К тому же он противник новых идей о праве на свободное чувство. И, к слову сказать, ему не нравятся женщины, склонные к полноте, не умеющие одеваться и слишком просвещенные.

Михайлов выслушивал длинные проповеди, злился и влюблялся все сильнее и сильнее.

Любовь не мешала работе, тем более что Людмила Петровна также горячо сочувствовала идее освобождения крестьян, была демократкой, поборницей женского равноправия.

Под влиянием этой любви меняется круг жизненных интересов поэта и даже друзей. Он не порывает со старыми, но еще ближе сходит с новыми, с людьми, которых представили ему Людмила Петровна и Николай Васильевич.

В ней, как в сиянье дня,
Я увидал, что истинно, что ложно,
Что жизненно, что призрачно, ничтожно
Во мне и вне меня.

Куда девалась «рассеянная жизнь», пирушки у Дружинина и Панаева? Он все время проводит теперь у Шелгуновых. Беседы с Николаем Васильевичем укрепляют в нем убеждение о необходимости радикальных перемен в России. Он глубже всматривается в те стороны жизни, которые замечал раньше только мимоходом.

Он воспринимает теперь жизнь не только как раненный ее несправедливостями человек, но и как представитель нарождающейся плеяды «новых людей».

Это было время «открытий» не только для Михайлова.

Кончалась Крымская война. Кончалась поражением русского царизма. Еще Севастополь держался героизмом простых русских солдат и матросов, но уже



Н. Г. Чернышевский.



Н. А. Добролюбов

в самых различных слоях русского общества, вплоть до «людей порядочных и умеренных», широко распространились пораженческие настроения.

Падения Севастополя втайне ждали, ждали, «надеясь, что с падением его падет и нынешняя система».

В разгар этого ожидания перемен, словно провозвестник их, внезапно, 18 февраля 1855 года, пришло сообщение: умер император Николай I.

Михайлов был радостно взволнован, хотя некоторые его знакомые искренне горевали. Светские дамы даже плакали. Для них «Николай был легендарным героем, коронованным рыцарем».

В салоне Штакеншнейдер упорно говорили о самоубийстве императора, и это тоже обещало перемены. Если уж этот деспот не вынес горечи поражения, если и он осознал, что причина страшного позора — отсталость России, крепостной строй, то можно думать, что наступит время, когда страна проснется от летаргического сна, что старое уже не может повториться, дорога к нему закрыта.

Это чувство перешло в уверенность после падения Севастополя и заключения тяжелого Парижского мира.

Все очнулись, все стали думать, и всеми овладели критические настроения. Еще ничего не прояснилось, но было ясно: «царизм потерпел жалкое крушение... он скомпрометировал Россию перед всем миром и вместе с тем самого себя — перед Россией. Наступило небывалое отрезвление»¹.

Это был медовый месяц освобождения от позорного прошлого. И Михайлову казалось, что все до единого полны одной радостью, охвачены одними и теми же надеждами.

Но так казалось не только Михайлову. Даже Чернышевский, который, как и предвидел Михайлов, избрал себе карьеру журналиста, хотя и не отказался от защиты диссертации, даже Чернышевский, вставший во главе отдела критики и библиографии «Сов-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 29.

ременника», говорит о единстве и необходимости взаимного доверия.

Но он не хочет «довольствоваться малым», как не хотят этого и новые люди — разночинцы. Они прорвались к свету сквозь завесу крепостничества, классовой кастовости. Они живут своим трудом, не эксплуатируя, чужого, они отрицают наследие прошлого. «Все традиционное существование, принимавшееся ранее без критики, пошло в переработку. Все — начиная с теоретических вершин, с религиозных воззрений, основ государственного и общественного строя вплоть до житейских обычаев, до костюма и прически волос», — так отмечал в своих воспоминаниях П. Анненков.

Михайлов чувствовал себя в одном строю с этими «разумными эгоистами», как не слишком удачно окрестил их Чернышевский. Он пересматривал вместе с поколением основы и прежде всего этические основы — брака, семьи, любви.

Людмила Петровна помогала ему в этом. И для него и для нее вопросы личного счастья неразрывно были связаны с проблемами социальных реформ. Они не хотели «счастья в уголку». Их личная судьба — это судьба всех, и если они переворачивают наизнанку укрепившиеся веками устои брака и любви, то только потому, что вся жизнь людей должна быть теперь раскрепощена.

Николай Васильевич Шелгунов тяжело переживал «раскрепощение» своей жены. Но разве не он первый внушал ей эти мысли еще до замужества? Она полюбила Михайлова, что же, он не будет насиловать ее чувства, отойдет в сторону. Но разве это означает, что они должны разойтись, разве Михайлов ему стал меньше дорог как друг и единомышленник?

Нет, сто тысяч раз нет!

* * *

10 мая 1855 года Чернышевский защищает свою диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности». Михайлов, познакомившийся с нею раньше, целиком соглашается с ее выводами и

очень скептически относится к тому, что диссертант получит искомую степень магистра.

Действительность выше искусства. Нет искусства, оторванного от жизни, питающегося бесплодной фантазией. Не должно быть «искусства для искусства». Художник обязан воспроизводить жизнь во всем ее многообразии — это были заветы, эстетическая платформа «новых людей». И Михайлов всем своим творчеством стремится на практике воплотить материалистическую эстетику Чернышевского — в очерках, рассказах, стихах, критических статьях.

В полуофициальных кругах упорно говорили о необходимости освобождения крестьян. Освобождения, конечно, сверху.

И сразу же вся пресса страны подхватила, стала разглядывать со всех сторон пути и возможности отмены крепостного права. Правительственные и официальные издания вроде «Военного сборника», «Морского сборника» не остались в стороне. Они завели отделы критики и библиографии, в состав редакции вошли передовые литераторы.

Интерес к крестьянину и народной жизни, быту, нравам того, кого собирались уравнивать в правах с «просвещенными классами», возрос неимоверно. Великий князь Константин Николаевич, управляющий морским министерством на правах министра, предложил осуществить ряд экспедиций для ознакомления с бытом жителей, занимающихся морским делом и рыболовством.

Михаилу Илларионовичу тоже было предложено поехать на родной ему Урал.

Михайлов согласился с радостью, хотя ему и не хотелось расставаться с Шелгуновыми, бросать начатую серьезную работу над переводами Гейне.

Но соприкоснуться с жизнью, воспроизвести ее в очерках, рассказах, романах, как того требует Чернышевский, собрать народные сказки и предания, запомнившиеся ему с детства, обследовать места, где проходили сражения Пугачева, записать предания о нем, о башкирских повстанцах!.. Нет, он не мог устоять!

Михаил Илларионович двинулся в путь. Сначала он поехал в Уфу, потом — в Оренбургскую губернию, а оттуда на Урал.

* * *

Недаром Наполеон считал русские дороги и русскую грязь одной из стихий, одолевших его, не знавшего поражений. А если прибавить к бесконечным ухабам, рытвинам, снежным заносам отсутствие денег, невозможность иногда по нескольку дней сыскать себе съестного, то можно представить, каково было путешественнику. Морское министерство не позаботилось о присылке средств и продовольствия.

Михайлов пишет Шелгунову: «Если странствовать, то странствовать по своей воле, а лучше всего оставаться с теми, кого любишь».

«Безденежный идеалист» растрчивает последнее на лошадей, на корки хлеба. Именно корки, так как зима в этих местах выдалась голодная.

Да и не первая это было голодуха. На дорогах звенящие от мороза трупы детей, стариков, женщин. Мертвые деревни, над которыми не поднимается ни одного дымка, где не видно тропинок к домам, протоптанных живыми. Помещикам нечем кормить своих крестьян, да они и не желают тратить на это «быдло». Проще выгнать со двора, пусть до весны попижутся «христовым именем», а там их вернут обратно, никуда не денутся.

В помещичьих гнездах сытость и довольствие. В зимнюю скуку, когда не поскачешь за десятки верст в гости, единственное развлечение — водка да издевательство над дворовыми. По ним стреляют из пистолета, как по живой мишени, на них испробуют новые пучки розог, выгоняют босиком на мороз...

Встречаются по пути горнорудные предприятия. Люди запряжены в круг и ходят, ходят, поворачивая колесо для привода к сверлильному станку. Ходят до тех пор, пока перед глазами не начинает вертеться земля и меркнет свет. Тогда ушат ледяной воды и железная кошка возвращают к жизни. А если все же не хватает сил, то для их подъема существу-

ет карцер, в котором ни лечь, ни сесть, ни повернуться и сорок градусов мороза.

В башкирских, татарских, казахских селениях поголовная трахома, бытовой сифилис провалил носы у пятилетних детей. Голод такой, что едят сгнившие трупы павших животных, бывают случаи и людоедства. Но регулярно в сопровождении казаков приезжают жирные чиновники собирать бесчисленные подати, чинить суд и расправу.

Летом в степи занимались пожары. Голодные, едва выжившие зимой люди молча, обреченно смотрели на то, как огонь уничтожал посевы, амбары. Он, правда, с трудом одолевает их жалкие жилища — прогнившие бревна почти не горят, а солому с крыш давно съела скотина, но зато нехитрая утварь, одежда, обувь — все идет в пищу огню.

Люди знают, что это смерть. Отчаявшиеся бросаются в пламя.

Вот когда перед Михаилом Илларионовичем во всю необозримую ширь развернулась пропасть народных бедствий, порожденных крепостным правом.

Поэт не только собирает песни и сказы, записывает предания. Он напивается гневом, у него исчезают последние иллюзии насчет возможности освобождения крестьян помещиками. И зреет решение: отдать всего себя, все свои знания, талант борьбе. Только борьба. Без нее гибель. Россию не спасут царь, помещики, не спасет «воля», дарованная сверху. Он в этом убежден.

Теперь его долг убедить и читателей, убедить тех, кому розовый туман либерального словоблудия заслонил действительную жизнь.

Михайлов изучает местные языки и пишет Шелгунову, что это дает ему «возможность собрать много памятников башкирской народной поэзии: сказок, былин и песен, доньше неизвестных».

В них Михайлов слышит народную думу, думу неграмотных людей, которые в изустной форме из поколения в поколение передают свои надежды, свое горе, чаяния и страдания.

Он напишет большие историко-этнографические

«Очерки Башкирии», в которых даст «стройную этнографическую картину Башкирии, никем обстоятельно не описанной».

Михайлов посещает родную Илецкую заштиту, затем живет зиму 1856/57 года в Уральске, наезжает в «киргизские степи».

И всюду одно и то же, одно и то же. Он радуется известиям о восстании десяти тысяч уральских «киргизов». Недовольству казаков. Ведь всюду восставшие идут на бой с одной думой — о воле. Эти восстания перекликаются со всем крестьянским движением, развернувшимся в России как в годы Крымской войны, так особенно после ее окончания. В разоренный войною Таврический край хлынули переселенцы-крестьяне. Они идут семьями, их не пугают войска, преградившие путь к Крыму. Они слышали, что тем, кто переселится сюда, дадут волю. От кого они слышали? От самих себя. Они сами себя уверили в этом. Воля — это значит и земля. Воля — это право быть человеком, а не говорящим инструментом. Воля — это спасение от голодной смерти, от пыток и издевательств помещика. Воля — это будущее их детей, будущее России.

Надежды на то, что волю даст царь, уживаются рядом с памятью о Пугачеве. Крестьяне не забыли, нет, как «батюшка Емельян Иванович да удалой Степан Тимофеевич душегубов и тиранов на земле изводили». Память о вождях крестьянских войн хранят сказы, песни, былины.

Михайлов должен написать еще один очерк — «От Уральска до Гурьева». Он начал оба, но боится, что цензура не пропустит ни одного. «Везде стараюсь, по мере возможности, говорить откровенно, без прикрас, о положении края. Гадостей нет числа», — пишет путешественник Шелгунову. Он теперь и «дышит полнее» и «думает светлее». И обрел тот опыт, которого ему не доставало.

* * *

Деньги вышли, материал собран. Скорее в Петербург, за письменный стол. У него столько наблюдений, мыслей, что нужны только силы. Его зарисовки

помогут Чернышевскому, уже начавшему на страницах «Современника» печатать серию статей об объявленном правительством «приступе к рассмотрению возможностей освобождения крестьян и выходе их из крепостного состояния».

В Петербурге все «пенится». Опубликован высочайший рескрипт Виленскому генерал-губернатору Назимову, разрешающий дворянам создавать в губерниях дворянские комитеты для обсуждения проектов освобождения крестьян.

И уже намечается некоторое размежевание в «образованном» обществе. Либералы, вчерашние «славянофилы», да и «западники» тоже, жмутся поближе к трону. Они торгуются за меры уступок; и они всецело против крепостного права, но не трогайте монархию!

И, не дай бог, революция.

Даже Герцен еще верит в реформы и не разобрался в той «пакости», которую готовят царь и помещики русскому крестьянину.

Он написал письмо Александру II.

«Государь, — писал Герцен, — дайте свободу русскому слову. Уму нашему тесно, мысль наша отравляет нашу грудь от недостатка простора, она стонет в цензурных колодках. Дайте нам вольную речь... Нам есть что сказать миру и своим.

Дайте землю крестьянам — она и так им принадлежит. Смойте с России позорное пятно крепостного состояния, залечите синие рубцы на спине наших братьев, эти страшные следы презрения к человеку. Я стыжусь, как малым мы готовы довольствоваться; мы хотим вещей, в справедливости которых вы так же мало сомневаетесь, как и все...»

Но уже в Лондоне начал выходить «Колокол». Скоро он ударит в набат. Да, это будет «скоро».

Чернышевскому, Некрасову и новому сотруднику «Современника», который пришел в журнал в отсутствие Михайлова, Николаю Александровичу Добролюбову, трудно вести борьбу. Цензура вырезает все, что может напоминать призыв к революции. Она не позволяет обсуждать возню «верхов» вокруг осво-

бождения крестьян. А тут еще либеральные писатели во главе с Тургеневым недовольны направлением журнала, грозятся уйти из него.

Ну и пусть уходят!

«Современник» должен стать рупором крестьянской революции.

Михайлов без колебаний на стороне Чернышевского и Добролюбова. С Николаем Александровичем он очень скоро сдружился.

Но поездка, видимо, не прошла даром. У Михаила Илларионовича начались недомогания, напоминающие приступы тифа, да еще с какими-то невероятными осложнениями.

Михайлов между жизнью и смертью. Людмила Петровна не отходит от него. Он живет у нее в Лисино, где в Лесной академии преподает Шелгунов.

* * *

Михайлов упорно не поправляется. Из Петербурга приезжал Николай Курочкин, доктор, литератор. Несколько ночей провел он у постели больного. Потом, успокоив Шелгунову, уехал.

Михайлов очень слаб. Но он уже таскает крендели, которые ему никак нельзя есть. И диктует шуточные стихи Полонскому:

В стихах тебе посланье шлю,
О друг Полонский, издадека.
Вот видишь — болен я жестоко,
Бульоны ем, микстуру пью
И огорчен притом глубоко.

Сегодня враг желудок мой
Не мог и супом пообедать...

Только в ноябре, после операции, Михайлову стало лучше. К этому времени Шелгунов обосновался в Петербурге, и Михаил Илларионович стал жить в его квартире под сенью «любви и дружбы». Остаток осени ушел на переводы Шиллера, издание которого готовил Николай Васильевич Гербель. Впрочем, Шиллер — это не главное. Цензура так и не пропустила

очерков о Башкирии и Урале. Но Михайлов не сдается — его увлекает работа над стихами Гейне, Томаса Гуда, Гартмана.

В произведениях этих поэтов ему близка не только гармония стиха, но прежде всего гражданский пафос, гимн борьбе, революционному движению.

Михайлов хитрит. Проклятый эзопов язык. Но что поделаешь? С помощью переводов можно обойти цензурные рогатки. И пусть стихи говорят о революционной борьбе в германских княжествах, их поймут и оценят те, кто стремится к революции в России.

Он переводит Гейне:

Брось свои иносказанья
И гипотезы святые;
На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые!
Отчего под ношей крестной,
Весь в крови, влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?

В стихотворениях Гейне Михайлов ощущает созвучные его настроениям мысли.

Он ценит в немецком поэте его острое слово, его демократизм, революционное горение. И создает лучшие, непревзойденные переводы Гейне.

* * *

У Людмилы Петровны Шелгуновой что-то с ногами. Ее часто мучает почти полный паралич. Ей приходится месяцами лежать в постели. Николай Васильевич хлопочет о заграничной командировке, чтобы предоставить жене длительное лечение на европейских курортах.

Если Шелгуновы едут, то Михайлов тоже двинется за границу, ему хочется «многое посмотреть, многому научиться».

Шелгуновы уехали раньше, Михайлов получил паспорт только в июне 1858 года и помчался вслед за ними во Францию.

* * *

Николай Гаврилович с удовольствием читает «Парижские письма» Михайлова. Он регулярно присылает их в «Современник». Как вырос, идейно окреп за эти годы Михаил Илларионович! Его письма свидетельствуют об уме пытливым, редкой наблюдательности, политической чуткости. И он прямо-таки неутомим. То в Париже теревит рабочего-поэта и революционера Потье, спорит с поборницей женского равноправия Женни д'Эрикур, то он уже в Трувилли или разъезжает по Нормандии. И как только хватает ног, чтобы бегать по выставкам, картинным галереям, танцевать в маскарадах и без усталости дискутировать в литературных салонах? Но от него ничего не укроется. За парадной ширмой благополучия луинаполеоновской империи он разглядел нищету, каторжный труд, изощренную эксплуатацию. Среди мрака реакции его взоры обращены к простым людям Франции. Он верит в их будущее. Они совершат революцию, как совершат ее дорогие ему русские мужики.

Эти письма уже стяжали ему славу блестящего публициста. Он действительно многому научился и еще больше увидел. Он научился острее ненавидеть. Он увидел, что будущее не за монархией и произволом, не за «денежным мешком». Будущее — республика, равенство всех, уничтожение эксплуатации.

Михайлов прислал в «Современник» большую статью — и даже не статью, а ряд статей — о женщинах, их воспитании и значении в семье и обществе.

Чернышевский живо интересуется этой проблемой. Ведь не кто иной, а он сам на практике, в собственной семейной жизни, неуклонно проводил и проводит идею эмансипации женщины.

«Женщины в университете» — статья превосходная. Но Михайлов слишком увлекся. Право, «женский вопрос» затуманил ему глаза. Ну разве семья — основа общества? Разве переустройство общества начинается с семьи? Нет, семья переустроится, когда переустроится общество, оно само будет этим заниматься.

Но зато как неумолимо, логично Михаил Илларионович расправляется с домашними и зарубежными «домостроевцами» типа Прудона.

«Нас укоряют в недостатке решительности, в отсутствии твердых характеров. Пока женщина не будет идти наравне с нами, мы все будем отставать от движения и лишать его должной силы. Может быть, только в ненормальном положении и воспитании женщины лежит вина тех неурядиц, которые делают наше время переходным и отодвигают нас от цели».

Нужно изменить воспитание женщин, допустить их в гимназии и университеты, уравнивать в гражданских правах с мужчинами.

Говоря о женщинах и их положении, Михайлов говорит вообще о рабстве, подразумевая под ним крепостное право. Говоря об уничтожении рабства и раскрепощении женщины, он говорит искушенному читателю о необходимости свергнуть крепостничество.

Чернышевский, почти не правя рукописей, сдает их в набор.

Интересно, ведь Михайлов в своих «Парижских письмах» продолжил традиции Герцена.

Заедет ли он к нему в Лондон?

* * *

Лондон. Парламент и королевский дворец. Въезжая, вмыываясь в камень копыт на пилястрах Вестминстерского аббатства, подстриженные парки. Омнибусы. Сходки воров. Профессиональные союзы рабочих. И главное — Герцен. Месяц с ним и Огаревым.

Герцен интересуется буквально всем. Но его особо волнует судьба родины, России, русского крестьянства. Он уже плохо верит в «благоденствие реформ», однако и крестьянская революция кажется Искандеру чем-то желанным, но мало реальным.

Месяц споров, месяц планов, которые развивает Огарев. Он практик и считает, что революционерам России нужна прежде всего партия. Подпольная. С программой, с законспирированным ядром.

Михайлов вспоминает Чернышевского. Он глава Шелгунов, Серно-Соловьевичи, верно, найдутся и тысячи других.

Но многое неясно. И поэтому Герцен не говорит последнего слова.

Впечатлений уйма.

Он должен обо всем рассказать Николаю Гавриловичу.

* * *

Вернувшись в Петербург, Михаил Илларионович не узнал столицы. Вчерашние друзья и сотрудники «Современника» — Тургенев, Григорович при встрече едва здороваются. Отдел критики целиком в руках Добролюбова, и Чернышевский с Некрасовым не могут нахвалиться «новым Белинским», «русским самородком». Михайлову предложили вести отдел иностранной литературы и стать постоянным сотрудником редакции журнала.

Он и не предполагал, что приобрел такую популярность у себя на родине. Не только «Парижские письма», но и «Лондонские заметки» сделали его в глазах революционно настроенной молодежи одним из руководителей демократического лагеря, уже открыто противопоставившего себя всем скрытым и открытым реакционерам.

На Россию надвигалась крестьянская революция. Удалая, разгульная. С «красными петухами». Более 400 крупных крестьянских волнений за последние 4 года! Брожение среди студентов, недовольство в Финляндии и набатные удары «Колокола», страстные призывы «Современника».

Революция вот-вот грянет. Правительство спешит с реформой. Быть может, с ее помощью удастся предотвратить революционный взрыв.

Уже завершили свою работу губернские дворянские комитеты, редакционные комиссии свели их проекты в общее «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости».

Со дня на день ожидали опубликования «высочайшего манифеста».

К этому дню готовились все. По дорогам России скакали фельдъегерские тройки, неслись специальные поезда, развозя по местам адъютантов и флигель-адъютантов с чрезвычайными полномочиями, в крепостнические клоповники с посвистом и песнями стягивались воинские команды. Официальная пресса давно заказала хвалебные гимны.

Изменился характер вечеров и у Николая Гавриловича. Они по-прежнему шумные, если прислушиваться с улицы, но Ольга Сократовна часто выбегает во двор и внимательно присматривается к прохожим. Как всегда, на этих сборищах много народу, много и новых людей. Николай и Владимир Обручевы, поляк Сигизмунд Сераковский, служащий Государственного совета Николай Серно-Соловьевич.

Идет консолидация сил революционного лагеря. Здесь ожидают, что объявление «воли» может стать исходным пунктом крестьянского восстания. Нельзя допустить, чтобы оно вылилось во вторую пугачевщину. А для этого нужен штаб восстания. И совершенно необходимо привлечь на его сторону лучшую часть офицеров, студенческую молодежь, солдат. Наладить непосредственные связи с крестьянами.

Михайлов понял: наконец настала пора от слов перейти к действию.

Михайлов становится ближайшим сподвижником Чернышевского, и идейное влияние на него Чернышевского безгранично. Кружок Николая Гавриловича, куда вошел и поэт, — это контуры создающегося революционного центра.

Михайлов так же, как и Чернышевский, социалист.

Это был утопический социализм. В его теории решающую роль играла уверенность, что Россия сумеет перешагнуть через капитализм, миновать его. И сразу, после победы крестьянской революции, на основе исконного крестьянского общежития и коллективистических начал поземельной общины строить новое, социалистическое общество.

Утопия! В ней ни грана научного социализма. Но какая прекрасная, революционная! За нее Михайлов готов умереть.

* * *

Однажды хмурым декабрьским днем 1860 года в кабинет Михайлова кто-то очень робко постучал.

— Да, да, прошу, войдите!

В комнату проскользнул невысокий молодой человек с очень узким лбом, волосы были острижены под гребенку.

Он протянул Михайлову письмо и скромно сел в предложенное ему кресло.

Письмо было из Москвы от Плещеева, поэта-петрашевца, часто печатавшегося на страницах «Современника». Плещеев рекомендовал Михайлову Всеволода Костомарова, отставного уланского корнета как знатока иностранных языков, даровитого переводчика Гейне.

Костомаров хотел бы кое-какие из своих переводов печатать в «Современнике», и потом он страшно нуждается и не имеет никаких иных доходов, кроме литературных. И на эти доходы он живет с матерью, братом, сестрами.

Михайлов просмотрел переводы. Они были неплохими.

В кабинет вошли Шелгунов и Людмила Петровна. Михайлов представил им гостя.

Разговорились.

Костомаров все время смотрел в пол и говорил как-то отрывисто, но очень многозначительно. Он любил, видимо, прихвастнуть. Михайлов очень корректно подтрунивал над корнетом, и тот вконец разошелся. Вытащил листок, на котором типографским шрифтом было отпечатано стихотворение и стояла подпись: «В. Костомаров».

Стихотворение было смелое, антиправительственное.

Михайлов стал откровеннее с Костомаровым и через несколько дней познакомил его даже с Чернышевским. Николай Гаврилович отнесся к начинающему поэту тепло.

Костомаров уехал в Москву.

* * *

19 февраля 1861 года, в шестую годовщину своего царствования, Александр II подписал манифест и положение об отмене крепостного права в России.

Россия готовилась справлять широкую масленицу. Реформа же была слишком постной, и царь побоялся объявить ее в дни, когда в империи пьют и гуляют, берут приступом снежные города.

Царь боялся приступа Зимнего дворца.

5 марта церковный благовест разогнал галок с колоколен. Они носились над селами и городами с тревожным карканьем.

А церкви гремели и гремели, созывая верноподданных прослушать царский манифест.

Слушали молча. Священники в умилении воздевали к куполам руки, помещики, чиновники, «чистая публика», нарушая церковное благочиние, кричали «ура».

А крестьянин по-прежнему молчал и думал. Думал, почесывая затылок. И смолкли восторженные крики. На крестьянина уставились десятки тысяч настороженных глаз. Что он надумает?

«Воля» оказалась похуже прежней неволи. Крестьянина освобождали от земли, с него драли выкуп за «песочек», на который его сгонял помещик. Его ободрали как липку и требовали еще благодарности.

Крестьянин не пошел на радостях в кабак пить водку, и он не хотел по случаю «воли» целоваться с пьяным баринном.

Он думал.

Тяжело.

Угрожающе.

* * *

Костомаров снова в Петербурге. Теперь он уже на правах друга заезжает к Михайлову и не скрывает от него, что то стихотворение было отпечатано на станке, который приобрели московские студенты с целью издавать нелегальную литературу.

Господи, как это кстати! Именно сейчас, когда объявлена реформа, революционеры должны иметь возможность открыто говорить со всеми слоями рус-

ского общества. Надо показать грабительский характер освобождения, нужно развернуть программу борьбы за настоящую волю, демократическое переустройство России. И в конце концов нужно агитировать за свершение революции.

Сейчас создаются прокламации к крестьянам, солдатам, их нужно размножить. И как это замечательно, если будет своя вольная, бесцензурная типография!

Что же, Костомаров готов наладить печатанье прокламаций в Москве.

Вот только бы деньги...

Михайлов уже у Чернышевского.

Николай Гаврилович отнесся к предложениям Костомарова более сдержанно. Он плохо знает Костомарова, хотя нет оснований не верить ему. Конечно, деньги достать можно, но нужно соблюдать строжайшую конспирацию.

Михайлов более порывист. Он легко увлекается. Он берет на себя организацию печатанья прокламаций. Чернышевский передает ему текст прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон».

Михайлов ее тщательно переписывает измененным почерком. Передает Костомарову, который спешит вернуться в Москву.

* * *

Реже собираются по вечерам друзья в уютной гостиной Шелгуновых. И Михайлов бывает здесь нечасто. Правда, у него большая радость, счастье. Родился сын Миша. И хотя он Михаил Николаевич, но он так похож на него, Михайлова.

У Шелгуновых живет брат Людмилы Петровны — Евгений Михаэлис. Он студент университета. Евгений рассказывает, что студенты организуют тайные кружки.

Романтика молодости и готовность принести себя в жертву для блага народа, юношеское легкомыслие и «страшная» конспирация. Михайлов хорошо понимает, как важно объединить эти кружки под одним руководством. Уберечь революционную молодежь от необдуманных шагов и увлечь ее на нужное дело.

Ему известно и о других студенческих кружках — в горном институте, в технологическом.

Евгений сводит Михайлова с университетским кружком.

Конечно, у всех в голове — реформа. Михайлов явился как раз в тот момент, когда студенты только-только закончили чтение манифеста и возмущенно галдели. Появление Михаила Илларионовича было встречено взрывом восторга. Его попросили поделиться мнением о реформе. Михайлов говорил резко и, как всегда, ядовито.

Реформа — «ловушка» и «обман». Это новая форма закрепощения, худшая, так как она оставила крестьян без земли и тянет из них последнюю копейку. Кому не понятно, что выкупная операция — это банковский жульнический прием. Рассрочка уплаты выкупных денег на 49 лет — зафиксированная кабала на полстолетия. К тому же за это время накопятся проценты, которые крестьяне должны погасить.

Михайлов уже «сжег корабли»: он прямо зовет студентов готовиться к революции.

Как надо, как важно именно сейчас показать, рассказать молодому поколению, во имя чего стоит жить и бороться! Призвать его к борьбе.

Шелгунов считает, что нужно написать прокламацию, и он попытается.

Прокламация «К молодому поколению» была написана в конце зимы 1861 года. Михайлов хотел было передать ее для печатанья Костомарову, вновь приехавшему из Москвы, но у москвичей что-то не ладилось. Шелгунов уже не рад, что его первая прокламация «К солдатам», написанная под большим влиянием прокламации Чернышевского, была отдана Костомарову.

Нет, летом Шелгуновы все равно едут за границу. Михайлов тоже. Он понимает — Николай Васильевич хочет отпечатать прокламацию «К молодому поколению» в типографии Герцена. Михаил Илларионович готов ехать в Лондон, хотя, конечно, насколько большим был бы эффект, если бы прокламация была

отпечатана в России, а не в лондонской типографии, хоть она и называется «вольной русской».

* * *

И снова лето. Снова Лондон. Шелгуновы остались в Париже.

Герцен недоволен прокламацией и уговаривал Михайлова ее не печатать. Но Михаил Илларионович стоял на своем. Он не согласен с Герценом, ему кажется, что прокламация написана убедительно, только немного длинно и напоминает не воззвание, а статью. Что поделаешь, ведь нужно не только призвать поколение к революционной деятельности, но надо напомнить ему «тени мучеников 14 декабря», дать ему объяснение важнейших экономических и политических аспектов жизни Европы и России.

Много было в этой прокламации путаных, неясных мест. Она была составлена в духе идей «крестьянского социализма» Герцена, но самое главное — звала к революции, звала «революцию на помощь народу».

600 экземпляров отпечатали быстро. Единственно, что поразило Михайлова, так это дата — «сентябрь 1861». Почему сентябрь? Герцен объяснил, что пока Михаил Илларионович доберется до Петербурга, приступит к распространению воззвания, как раз наступит осень.

Но как провезти этот довольно увесистый тюк в Россию, минуя таможенные досмотры?

Решили заложить прокламацию в двойное дно чемодана. Михайлову посоветовали не очень скупиться на чаевые.

Окрыленный, он возвращался в Петербург.

Вот и последняя, столичная таможня. Чиновник устал, ему жарко, Михайлов советует отдохнуть, выпить чего-нибудь этакого...

А теперь скорей на пролетку.

* * *

Июльская жара подсушила гардины на окнах, запорошила стекла серым налетом пыли, вытеснила из комнат атмосферу уюта, обитаемости.

Михайлов распахнул рамы. Аккуратные стопки корректур, завалившие письменный стол, ожили, зашевелились, напоминая о работе и времени.

Но он так одинок в этой огромной квартире! Шелгуновы приедут только к концу августа. А он уже скучает, скучает по «любви и дружбе».

И часто, засиживаясь долго за полночь над рукописями, Михайлов тоскливо поглядывает на дверь, ведущую прямо из его кабинета в половину Шелгуновых.

Потом его взгляд останавливается на камине.

Он стал хранителем прокламаций. Под кучей золы, заваленные старыми газетами, покоятся 600 экземпляров «К молодому поколению». На всякий случай Михайлов подставил к топке кресло, хотя, конечно, если кому-нибудь придет в голову искать их там, то кресло не преграда.

На улице тишина, все спят, а ему не спится.

Вот уже полгода минуло со дня объявления «воли», а крестьяне молчат.

Молчат?

Михайлов листает газеты, журналы, скопившиеся за время его поездки по Европе.

Нет, крестьяне не дремлют, они ищут подлинной воли. В Рязанской губернии в селе Кукуй они отказались исполнять барщинные работы.

Был введен взвод солдат...

В селе Мошине тоже не обошлось без воинской команды. В имении Дашковой Егорьевского уезда крестьяне сменили бурмистра и, заковав прежнего в кандалы, три дня держали его под стражею в бане.

Вести эстафетой слетались со всех концов России. Сегодня в книжной лавке Кожанчикова он слышал о волнениях 10 тысяч крестьян князя Голицына в Смоленской губернии.

Чернышевский, кажется, прав — крестьяне начинают обгонять их, революционеров.

Но это все разрозненные бунты, и они кончаются поркой, расстрелом. Увы, крестьянин верит в царя, хотя и ненавидит помещика, чиновника. Но это ка-

кая-то местническая ненависть — до соседней межи, соседнего уезда. Она мешает мужику объединить свои усилия, направить их к одной цели. Да, нужно спешить, спешить с созданием революционного центра, штаба восстания.

Наверное, что-то сделано за время его отсутствия? «Дело начинай!» — как писал Чернышевский в своем обращении к барским крестьянам.

Михайлов долго бродит по кабинету, останавливается, что-то слушает, потом опять шагает.

«Дело начинай», «дело начинай»...

«С каждым из нас... связаны десятки людей, за которыми стоят сотни...»

«Тайные кружки революционеров-единомышленников почти при всех высших учебных заведениях Петербурга, Москвы, Казани, Харькова, Варшавы». Кружки в провинции, лондонские издания в руках сельских учителей. В Москве налаживается литографирование листовок, вот-вот начнет работать первая русская вольная типография.

Революционная демократия размежевывается с инакомыслящими, либералами, завершает выработку единых взглядов на формы и цели движения, на будущее устройство России...

Скоро надобно и начинать.

Чернышевский так и пишет: «Мы уже увидим, когда пора будет, и объявление сделаем...»

Что-то нет вестей из Москвы от Костомарова и Плещеева. Как там подвигается печатанье прокламации «Барским крестьянам»? Хорошо бы, к сентябрю всё было кончено и сразу две листовки — молодежи и крестьянам.

Но гложут и черные мысли. Каждый день, всякую минуту жандармы могут напасть на след складывающейся организации. Один неосторожный шаг, проникший провокатор — и все погибло.

Михайлов тушит свечи и осторожно подходит к окну.

Июльская ночь темна. Причудливые тени тянутся по брусчатой панели и напоминают уродливые химе-

ры с фронтона Зимнего дворца. В лунном свете газовые рожки меркнут и кажутся холодными, лишенными пламени.

Михайлов вглядывается в тени. Где-то в подъездах, подпирая заборы, прячась за стволы деревьев, незримо торчат «котелки».

Он видел их не раз. Они сопровождали его друзей в прогулках по Петербургу, крались вслед, сторожили подъезды редакций. Он видел их двойников у крыльца дома Чернышевского. Они прислушивались к словам в ресторанах, клубах, частных домах.

Они всюду!

Михайлов с досадой на себя задерживает шторы.

Ужели сдают нервы?

Нет, просто невыносимо ожидание.

Нужно действовать. «Дело начинать!»

С этой мыслью он засыпает.

А через несколько дней, обеспокоенный, он пишет в Москву Всеволоду Костомарову:

«5 августа 1861 года

Дорогой друг Всеволод Дмитрич, тороплюсь послать вам хоть малую толику денег, сколько у меня есть. Мы сочтемся, когда вы пришлете что-нибудь в «Совр.». Извините, что сумма так ничтожна; я сам теперь, что называется, в тонких, а из конторы «Совр.» все разъехались. Кроме того, посылаю вам тетрадь из истории Шлоссера для перевода. Плата за перевод очень хорошая (хоть не могу определенно сказать), и вам немедленно по доставлении рукописи будут высланы деньги. ...Совсем не умею писать писем. Мне очень хотелось перетащить вас сюда, но в настоящую минуту ничего не могу придумать. Может быть, зимой это будет возможно, особенно если удастся мое намерение издавать газету... Я все еще один, Шелгуновы не приехали, и я жду их с нетерпением к 15 авг. До свидания, милый Всеволод Дмитрич. Будьте здоровы и, если вас не сердят мои краткие ответы, пишите мне. Я всегда рад вашим письмам и всегда рад исполнять ваши поручения, если только могу. Мне бы очень хотелось узнать от вас, сколько бы вам нужно было приблизительно иметь

в месяц для жизни в Пб., с семейством, чтобы не терпеть лишения. Я имел бы это в виду, чтобы ухватиться обеими руками за первую возможность извлечь вас из Москвы.

Целую вас крепко. *Мих. Михайлов*.

* * *

20 августа в Петербург приехал Всеволод Костомаров. И сразу к Михаилу Илларионовичу.

Объятья, поцелуи!

Михайлов суетится вокруг дорогого гостя.

Чай? Кофе? Только что принесли горячие бублики от Филиппова...

Костомаров кисло улыбается, глаза его все время бегают, и с усеченного лба спадают тяжелые капли пота.

Он всем недоволен: правительством, манифестом, своим материальным положением и более всего своим братом Николаем.

— Чем же не угодил вам ваш братец?

— Он украл у меня автограф листовки «Барским крестьянам» и угрожает донести полиции...

Михайлов принял это известие спокойно.

Приглядываясь к Костомарову, он заметил, что тот привирает, стараясь его разжалобить. Не понравились ему и убегающие глаза собеседника.

Корректный, доверчивый, Михаил Илларионович инстинктивно чувствовал, что Костомаров чего-то не договаривает, чем-то встревожен, но пытается «произвести впечатление».

А впечатление было неважное, во всяком случае, куда более худшее, чем при первом знакомстве.

Но Михайлов далек от подозрений, и он давно привык терпимо относиться к недостаткам других. Сейчас Костомаров нужен революционерам, и если ему нельзя доверить тайну создающегося подполья, то, во всяком случае, он может быть организатором типографии, распространителем прокламаций. Потом он знает только о его, Михайлова, нелегальной деятельности. Ему очень немного известно о Чернышевском, Шелгунове, Серно-Соловьевичах.

Костомаров откровенно клянчит деньги, даже не очень ссылаясь на расходы по созданию типографии.

Михаил Илларионович всегда готов помочь, но после поездки за границу у него ни копейки. И потом это хныканье просто бестактно: ведь и двух недель не прошло с тех пор, как он послал Костомарову последнее, что у него было.

Как назло, Чернышевский уехал в Саратов, тот достал бы денег! А теперь еще, чего доброго, Костомаров начнет отговариваться, заявит, что затяжка с печатаньем прокламации произошла именно из-за отсутствия средств. Ведь он привез только корректуру «Барским крестьянам». А «Солдатам»? Ее и не начинали набирать...

Михайлов не любит недомолвок, пусть Костомаров скажет прямо.

Но отставной корнет продолжает что-то бубнить насчет бедной мамы и заневестившейся сестры.

Михаил Илларионович протягивает Костомарову листовку «К молодому поколению».

— Прочтите, это самая последняя прокламация, и, как видите, она отпечатана, остается ее только распространить.

Михайлов, невольно впадая в тон намеков, не договаривает. Но и без того ясно, что прокламация «К молодому поколению» отпечатана, а вот «Барским крестьянам» — нет.

Костомаров читает долго.

И нельзя понять — одобряет он прокламацию или не согласен с ней.

Михайлов терпеливо ждет и про себя еще и еще раз отмечает, что Костомарова будто подменили и даже его неприятные черты лица теперь выглядят просто отталкивающе. Костомаров явно затягивает чтение, чтобы выиграть время, вызвать вопросы Михайлова и первому не высказываться. А там можно будет увести разговор и в сторону.

Но Михайлов спрашивает в упор: согласен ли Костомаров взять с собою в Москву 100 экземпляров этой прокламации и распространить ее в основном среди московского студенчества?

Костомаров не смотрит собеседнику в глаза. Нет, он возьмет только один экземпляр для ознакомления. Он боится брата, а 100 экземпляров от него не спрячешь.

И снова разговор возвращается к бедственному положению, в котором очутились он, Костомаров, и его семья.

— Если так будет продолжаться, — вдруг выпаливает корнет, — то я пойду в жандармы...

И умолкает на полуслове.

Михайловничего не отвечает.

Пауза затянулась. Костомаров уже жалеет, что сболтнул лишнее, и лихорадочно ищет путей отступления.

— Конечно, я хочу это сделать во вкусе Конрада Валленрода и, как тот литвин из поэмы Мицкевича, забравшийся в логово рыцарей, отомстить меченосцам из Третьего отделения, зная о них все.

Костомаров натянуто смеется.

Михайлов спешит попрощаться со своим гостем. Шутка шуткой, но от нее так и отдаст полицейским остроумием.

Костомаров на следующий день уехал в Москву. Простились с Михайловым дружески. Михаил Илларионович ни словом не намекнул на вчерашнюю беседу и больше не просил Костомарова взять прокламации.

* * *

Шелгуновы приехали в самом конце августа, к началу лекций Николая Васильевича.

И снова как будто отступила осенняя хмарь.

В квартире Михайлова светит солнце. Вечера проходят незаметно в беседах, воспоминаниях. Забегают «на огонек» друзья. Все находятся в каком-то «кипении». Шелгунов, тот просто уверен, что Россия стоит «накануне», и он не хочет опять ехать в Лисино, чтобы не пропустить «момента». Михайлов подзадоривает друга, но он и сам в душе уверен, что вот-вот начнется крестьянское восстание, и тогда долой эзоповский язык, маски благонамеренности и верно-подданничества.

Ах, скорей бы уж наступило это 1 сентября! Не теряя ни минуты, он начнет рассылать прокламацию, и пусть она будет последней каплей.

31 августа, как всегда совершая утреннюю прогулку, Михайлов не может пройти мимо книжной лавки Кожанчикова на Невском. Собственно, он не собирался ничего покупать и зашел просто так, перекинуться несколькими словами с хозяином, навестить старого своего приятеля, приказчика в лавке — Василия Яковлевича Лаврецова.

Михайлов любил этого неугомонного библиофила, очень начитанного, прекрасного собеседника.

Ему он был обязан своей великолепной библиотекой.

На вопрос о том, есть ли что из новинок, Лаврецов разводит руками, то ли давая понять Михайлову, что для него ничего нет, то ли любезно приглашая к полкам, чтобы он посмотрел сам.

Отказать себе в удовольствии еще и еще раз прикоснуться к стеллажам, забитым книгами, Михайлов не может. Он осторожно снимает книги с полок, перелистывает, иногда прочитывает страницу, две. Ставит обратно, чтобы взять соседнее издание и взглянуть в него.

Такое общение с книгами стало привычкой, преледией к трудовому дню.

Кто-то входит и выходит из лавки, Михайлов уже ничего не замечает.

Не замечает он, как в лавке начинается какая-то суета.

Вдруг загремели ножны сабли, и голос, привыкший командовать, рявкнул почти над ухом поэта:

— Где тут проживает управляющий домом?

Михайлов оборачивается.

Жандармский офицер в штабных чинах, приземистый, с лицом, как-то странно перекошенным и изрытым оспой, внимательно глядит на Михайлова и проходит в дверь, указанную приказчиком.

Лаврецов стоит бледный, громко повторяя:

— Да ведь это Ракеев, Ракеев ведь!..

Оказалось, что жандармский полковник Ракеев арестовывал Лаврецова за нелегальное чтение лондонских изданий.

Михайлов не знает жандарма, да и что ему за дело до этого политического блюстителя в полковничьем чине? Через пять минут он забывает о нем.

Днем предстояло сделать так много.

* * *

Полковник Ракеев запыхался, поднимаясь по лестнице здания собственной его императорского величества канцелярии.

Управляющий Третьим отделением граф Шувалов уже собирался домой, когда в его кабинет нетерпеливо постучались.

— Войдите! — граф недовольно поморщился.

Будь это кто-либо иной, граф незамедлительно выгнал бы посетителя. Но Ракеев... Нет, полковник никогда не осмелится потревожить его сиятельство по пустякам.

Ракеев никак не может отдышаться. Его лицо, изрытое оспой, напоминает лунные вулканы.

— Ваше... ваше сиятельство!.. Прошу прощения, ваше сиятельство, что осмелился задержать вас. Но сочинитель Михайлов в столице, ваше сиятельство!

«Сочинитель Михайлов в столице», — граф опустился в кресло.

— Отдышитесь, полковник! Вы и впрямь уверены, что Михайлов не за границей, а в Петербурге?

— Ваше сиятельство, сегодня днем я столкнулся с ним в книжной лавке Кожанчикова.

* * *

Он так ждал этого дня. Подгонял время... И вот, пожалуйста, как будто они подслушали его мысли.

Михайлов сидит в кресле и с удивлением рассматривает свой кабинет. В нем все разбросано, перевернуто, валяется в беспорядке. И это у него, такого аккуратиста?

В кабинете стоит тяжелый запах крепких папирос, кожи и чего-то неуловимого, но неприятного.

Открывается дверь с половины Шелгуновых. Николай Васильевич входит бледный. Не замечая Михайлова, идет к камину. Потом останавливается, и улыбка сгоняет бледность с лица.

— Ты... ты здесь?

Шелгунов порывисто бросается к Михайлову, обнимает его и молчит. Михаилу Илларионовичу спазмы сдавливают горло.

Шелгунов был уверен, что его уже забрали.

— Люденька, Люденька, идите скорее сюда!

Шелгунова останавливается в дверях кабинета. Глаза полны слез и смеха, счастливого смеха.

Опомнившись, она торопливо подходит к окну, распахивает его, и комната наполняется свежими ароматами прохладного дня ранней осени.

— О чем тебя спрашивали? Не нашли ли чего, почему был обыск?..

Шелгунов теребит Михайлова, но тот только смеется в ответ. Шелгунов бросается к камину, отбрасывает кресло, запускает руку в топку, качает головой и разводит руками, вымазанными сажей и пеплом.

Листовки целы.

Михайлов рассказывает, как полковник Ракеев и полицмейстер Золотницкий ворошили своими лапищами письма, бумаги, книги и спрашивали: «А это что-с?», «Да нет ли у вас чего?»

Чтобы скорее отвязаться от них, он сам дал им Прудона, берлинское издание Пушкина с «Гавриилиадой».

— И представьте себе, — оживился Михайлов, — полковник Ракеев, этот жандармский Квазимодо, расчувствовался. «Пушкин! — воскликнул он. — Это, можно сказать, великий был поэт. Честь России!.. Да-с, не скоро, я думаю, дождемся мы второго Пушкина! Как ваше мнение?»

Михайлов уморительно подражал жандарму. Смесь светской непринужденности и строевой вы-

правки в его изображении была столь комична, что Шелдуновы в восторге хлопали в ладоши.

— Но вы только подумайте, этот сыскной елот смел к тому присовокупить, что и он лицо, так сказать, историческое. Позвольте, позвольте... ага! Он заявил так: «А знаете-с! Ведь и я попаду в историю! Да-с, попаду! Ведь я-с препровождал... Назначен был шефом нашим препроводить тело Пушкина. Один я, можно сказать, и хоронил его... Да-с, великий был поэт Пушкин, великий!..»

— И, что занятнее всего, — уже разошелся Михайлов, — оба полковника, слыша в соседней комнате стук чашек и ложек, напрашивались на чай. Как бы не так, я остался глух и нем к их намекам.

— Михаил Илларионович, вы немедленно должны идти в Третье отделение к самому Шувалову и требовать объяснения...

— Я тоже об этом подумал!

* * *

Полковник Золотницкий был несказанно удивлен и даже встревожен, встретив Михайлова в приемной Шувалова.

— Зачем вы? Ведь ничего у вас не нашли? Разве вас призвали сюда?

Михайлов был отменно вежлив, но остался и дождался приема.

Шувалов казался немного смущенным. Михайлов очень искусно разыграл оскорбленную невинность и в конце концов вынудил Шувалова сообщить, что против него имеются подозрения по делу московских студентов, у которых открыта тайная типография и литография, и что его еще потревожит министерство внутренних дел.

Признание Шувалова посеяло тревогу, хотя оснований для этого как будто не было. Что могли сообщить попавшиеся студенты? Ничего или почти ничего. Во всяком случае, каждое их сообщение будет голословным, и никому, кроме Всеволода Костомарова, не была известна прокламация «К молодому поколению».

Но даже тот же Костомаров думает, что автором ее является Михайлов. О Шелгуновых он не знает ничего.

* * *

Вечером этого злосчастливого первого сентября в уютной гостиной Шелгуновых тревожно. Михайлов по своей привычке ходит из угла в угол. Шелгунов сидит, опустив голову. Говорит Людмила Петровна.

Она настаивает на том, что прокламацию «К молодому поколению» нужно сжечь. Ведь и Герцен был против нее.

Шелгунов молчит.

Михайлов останавливается, пристально смотрит на Людмилу и вдруг резко, даже зло бросает:

— Нет, нет!

Он уже думал об уничтожении прокламации. И все его существо, вся цельная, страстная натура восставали против такого шага. Это было бы отступлением, капитуляцией, предательством, особенно сейчас, когда Россия «накануне». Так мог бы поступить только жалкий трус, либеральчик из стаи «пустых крикунов».

Но почему молчит Шелгунов? В конце концов он автор прокламации.

Шелгунов чувствовал напряженную тишину, воцарившуюся в гостиной.

Ждут его слова, а ему так трудно решить. Уничтожить — значит расписаться в трусости, в том, что он не более как играл в революционность, «пошумел, пошумел», а как до дела, так и в кусты. А если не уничтожать? Если немного обождать, посмотреть, как там обернутся дела с московскими студентами?

Решили выждать.

На следующий день Михайлов у Николая Курочкина на сходке.

Еще раньше, до его отъезда за границу, Чернышевский, Елисеев, Лавров, Курочкин предложили открыть шахматный клуб не столько для того, чтобы заниматься пропагандой шахматной игры среди русского населения, сколько для того, чтобы под

этой вывеской иметь официально разрешенный политический салон.

Именно политический, в этом был весь смысл задуманного клуба. Идея пришлась по вкусу многим из посвященных, и хотя клуб еще не был открыт, но сходки по поводу его организации приобрели откровенный характер собраний единомышленников.

Михайлова встретили радостно.

Но когда он рассказал об обыске и беседе с Шуваловым, все были крайне удручены.

Арест в Москве нескольких студентов не был здесь новостью, но Михайлова неприятно поразило сообщение о том, что 25 августа был взят и Костомаров. Вспомнились бегаящие глаза и злое предупреждение стать жандармом. Михайлов поспешил домой. Выжидать больше нельзя.

Теперь и Шелгунов не колеблется. Если у Костомарова нашли прокламацию «К молодому поколению», то будут разыскивать ее автора.

И как знать? Ведь один обыск уже был. Нужно спешить и спешить. Вдвоем с Николаем Васильевичем Михайлову не развести и не разослать 600 экземпляров, хотя Людмила Петровна взяла на себя труд клеить конверты и запечатывать их. Пришлось посвятить в это дело брата Людмилы Петровны — Евгения Михаэлиса. Он жил тут же, рядом, был восторжен, целеустремлен, боготворил Чернышевского и Добролюбова и всецело был «против».

К Шелгуновым зашел Александр Серно-Соловьевич и тут же был тоже пристроен «к делу».

Тридцать конвертов малого формата содержали по одному экземпляру прокламации. Михайлов, меняя почерк, тщательно выписывал адреса из адрес-календаря. В это время Людмила Петровна клеила пакеты, которые могли вместить 20—30 экземпляров. Серно-Соловьевич не переставал трунить:

— Этакий тук на почту не сдашь, прикажите седлат белого рысака и швырять пакеты направо и налево...

Около двухсот экземпляров уложилось в 15 пакетов.

Михайлов карандашом стал подписывать адреса.
Редакции журналов и газет...
Квартиры знакомых...

Между тем наступил вечер.

Михайлова снова ждали у Курочкина, чтобы окончательно договориться о шахматном клубе.

Людмила Петровна ушла к себе, Шелгунов еще продолжал колдовать над конвертами. Евгений отправился в мелочную лавку, где принималась почта. Ушел и Серно-Соловьевич, договорившись с Михайловым о встрече у Курочкина.

Михайлов набросил на себя пальто, хотя сентябрь, казалось, делал все, чтобы быть теплым, ласковым, приветливым.

* * *

Сходка была продолжительной.

Говорили, курили и снова пускались в нескончаемые словопрения.

Михайлова приветствовали как пришельца с того света.

— Но, Михаил Илларионович, вы же арестант?

— Почему вас не заключили в Алексеевский равелин?

Хватит! Ему надоели подобные остроты. Почему нет Серно-Соловьевича, чтобы ехать домой?

Серно явился в десятом часу. Как всегда улыбаясь, с шутками, едким сарказмом, Александр подошел к Михайлову и бросил:

— Я проскочил на белом коне Петербург... Меня всюду приветствовали и махали чепчиками.

Михайлов готов был избить этого фанфарона и расцеловать его одновременно.

Обнимая Александра, Михайлов успел шепнуть ему, что и он преуспел, с десяточек конвертов подкинул знакомым по пути сюда.

Как всегда, там, где можно поговорить, неизменно присутствовал Иван Карлович Гербардт. Он был остроумен, его слова иногда сверкали искрами, светились умом, жгли огнем. О, на словах он был радикал, революционер.

Серно-Соловьевич все время порывался ввязаться в спор, но сходка кончилась, продолжать дискуссию на улице не стоило.

Иван Карлович и Петр Лавров жили рядом и, разговорившись, вскоре опередили других.

Михайлов, показывая на удаляющуюся фигуру Гербардта, с усмешкой сказал Серно:

— Интересно, так ли смело он будет витийствовать, получив конвертик с прокламацией?

Серно расхохотался. Значит, Михайлов успел-таки подбросить прокламацию и Гербардту, то-то потеха будет завтра!

И он не ошибся.

Назавтра, когда Михайлов заехал в редакцию энциклопедического словаря, он сразу же был пленен Петром Лавровым, как будто тот специально его дожидался.

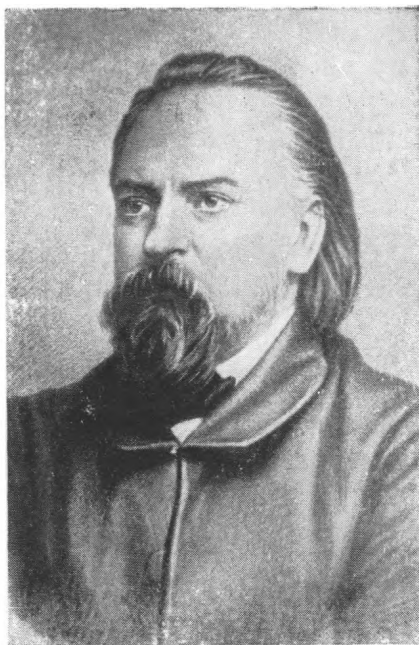
— Михаил Илларионович, удивительный пассаж произошел вчера с Иваном Карловичем. Идем это мы с ним домой, заговорились, и я доставил его прямо на квартиру. Зашли. Не успели снять пальто, как лакей Ивана Карловича, Сергей, протягивает ему пакет. Иван Карлович этак по рассеянности распечатывает его при мне и... чтобы вы думали?.. В пакете прокламация! Иван Карлович поражен, бледен, сидит в кресле, и лица на нем нет. На шум прибежал его брат, взялся за лакея: «Кто принес?» Сергей лопочет: «Какой-то маленький, худенький, черненький...» Я тут в суматохе ушел, а ныне жалею, нужно было прокламацию-то у милейшего Гербардта отобрать, не ровен час — он с ней в Третье отделение побежит, ведь вот до чего наш радикал перепугался.

Михайлов делал над собой усилие, чтобы не расхохотаться. Лавров не смеялся, он пристально посмотрел на Михайлова и резко переменял разговор.

* * *

Не напрасно спешил Михайлов, и не случайно его смутно тревожило известие об аресте Костомарова. В секретной картотеке Третьего отделения, в «книге живота», уже появилось досье, заполненное сведе-

А. И. Герцен.



И. И. Огарев



Крестьянское восстание под Можайском в 1860 году.

С картины художника Герасимова.

ниями о «противоправительственной деятельности» поэта.

Жандармский подполковник Житков, производивший в Москве аресты студентов, пытавшихся наладить нелегальное печатанье запрещенных цензурой книг, доносил в Третье отделение, что «не подлежит никакому сомнению участие писателя Михайлова, его рукою писано воззвание к крестьянам...». Житков советует арестовать писателя или по крайней мере получить у него автограф «для сличения его руки».

4 сентября граф Шувалов, как всегда, рассматривал утреннюю почту. Донесения шпионов, рапорты жандармских полковников и подполковников с мест. Все письма — с грифами на конвертах, обеспечивающими им бесцензурную доставку по назначению. И среди этого потока сыскной «литературы» — простой конверт, запечатанный какой-то странной, по всей вероятности перстневой печаткой.

Шувалов с недоумением раскрывает пакет.

Что такое? Типографский шрифт? Одного взгляда на заглавие достаточно, чтобы уяснить: прокламация! Забыты донесения, филерские рапорты.

Шувалов напоминает взбесившегося зверя в тесной клетке. Какая наглость, дерзость, черт знает что такое — прислать ему возмутительную прокламацию! Да это вызов, издевательство. А если бы почту просматривал дежурный офицер? Ведь один бог знает, какие бы толки пошли!

Шувалов поставил на ноги всю столичную полицию. Обер-полицмейстер Петербурга Паткуль получил заверение графа, что в случае розыска распространителей прокламаций «открыватель» получит значительное вознаграждение.

«Открыватели» в Петербурге сбились с ног. Но тщетно. Открыватель объявился в Москве, и им был Всеволод Костомаров.

Трус, фразер, вымогатель, лишенный каких-либо нравственных и идейных принципов, Костомаров, оказавшись серьезно скомпрометированным в деле московских студентов, решил «реабилитироваться».

Еще подполковник Житков заметил, что Костомаров «чрезвычайный трус»; «он высказывал давно уже мысль, когда еще только арестовали Заичневского, что он серьезно думает сам отправиться в Петербург и во всем сознаться, ибо не видел более надежды на успех предприятия и личным добровольным сознанием заслужить прощение».

Его намерение встретиться с управителем Третьего отделения теперь осуществилось. И Костомаров пошел ва-банк. Московские студенты ничего особого совершить не сумели. А для того чтобы его, Костомарова, вина была забыта, нужно на чашу весов «правосудия» положить самые крупные «гири».

И Костомаров кладет.

В «доверительной» беседе он рассказывает Шувалову о встрече с Михайловым, его предложении начать печатание прокламаций «Барским крестьянам», «Солдатам», о стремлении Михайлова использовать Костомарова как распространителя прокламации «К молодому поколению».

И здесь Костомаров до конца не откровенен.

Он еще не сознался, что донос его брата Николая написан им самим. Он еще приберегает на будущее Чернышевского как самый крупный козырь в ставке, где на кон поставлена свобода, личное благополучие и жизнь. Любой ценой, даже ценой предательства.

У Шувалова нет сомнений. Теперь Михайлов в его руках. Мало того, верноподданническое усердие в обнаруживании автора и распространителя прокламаций будет замечено в верхах и не пройдет бесследно для карьеры графа.

Что же касается Костомарова, то этот прохвост ему еще пригодится. А потом?.. Потом будет видно, ведь корнет знает кое-что лишнее...

* * *

По Петербургу ползут слухи. И никто не хочет в них верить. Больше всего говорят об аресте поэта Михайлова. Добролюбов пишет Некрасову: «Только и слышишь, что того обыскивали, того взяли; боль-

шая часть, разумеется, оказывается вздором. У Михайлова был жандармский обыск с неделю тому назад, с тех пор я каждый день встречаю людей, уверяющих, что он арестован. Третьего дня вечером я видел Михайлова еще на свободе, а вчера опять уверяли меня, что он взят. Оно бы и не мудрено — в течение ночи все может случиться; да ведь взять-то не за что — вот беда!.. Михайлова взять — ведь это курам на смех!»

Но Добролюбов не на шутку обеспокоен за участь друга. Он не сомневается, что письмо его перлюстрируют. Так пусть узнают, что «взять-то не за что», что общество взбудоражено слухами.

Но так ли уж Михайлов безупречен в глазах жандармов? Нет, этого Добролюбов не будет утверждать. Но об этом известно не многим и, во всяком случае, не жандармам.

Слухи вползают в кабинет Михайлова, мешают работать. Вот уже второй вечер подряд он вместе с Шелгуновыми пересматривает свои бумаги, жжет письма, благо камин теперь пуст.

Он почему-то почти уверен, что его не арестуют.

И только в предутренние часы, когда так хочется спать и когда жандармы имеют обыкновение звонить у подъездов, поэт тревожно прислушивается, забывается в коротком сне и снова пробуждается.

Если жандармам и неизвестно о его встречах и разговорах с Герценом, обсуждениях планов революционного подполья в России с Огаревым, то он-то знает об этом. И беспокойная мысль все время шепчет: «А вдруг?»

Приезжала какая-то знакомая Шелгуновой. Михаил Илларионович знает только, что ее зовут госпожа Блюммер. Она напугана. Она решительна. Михайлов должен тотчас спрятаться в ее квартире, а уж она найдет способ переправить его за границу.

Михайлов пронут заботой, но он совершенно ни в чем не замешан, и госпожа Блюммер напрасно беспокоится.

* * *

И все же он проспал этот наглый, продолжительный звонок, способный перепугать насмерть сонного человека с больным сердцем. И ему не снились ни жандармы, ни предатели, он просто устал в прошлые дни от мыслей и напрасных тревог.

Он услышал только последний надрывный звон.

И потом он весь день отзывался в ушах, в голове, сердце. Гвардейская вежливость и светские манеры благодушного полковника Щербатского, проницательность жандармской ищейки Житкова, загадочная непроницаемость сыщика Путилина, ужимки понятых, каменное безмолвие десятка жандармов и полицейских не могли отвлечь Михайлова от этого звонка. Он звучал в ушах, как плач колокола над разверзшейся могилой. Михайлов ни во что не вмешивался. Его не трогало любопытство полковника, читающего интимную переписку, и даже «баба Аграфена», осматривавшая Людмилу, была ему безразлична.

И только тогда, когда жандармы в первом часу дня, облазив чердаки, раскидав вещи в обеих квартирах, сообщили Михайлову, что он должен следовать за ними и нужно опечатать квартиру, звонковая трель уколола сердце, мозг!

«Опечатать? Значит, они должны забрать и Шелгуновых? Людмилу упрятать в тюрьму?»

О, полковник Житков знал слабое место поэта! Он не имел распоряжений на арест Шелгуновых, но ведь Михайлов об этом пока не знает. И не узнает в Третьем отделении. Пусть думает, что его обожаемую Людмилу ожидает арест, если он сам не сознается во всем. Пусть не знает ни минуты покоя. Это верный способ вынудить признание. Ведь одних устных показаний Костомарова, право, маловато для суда.

Только теперь Михайлов заметил, что у всех жандармов красные, наглые глаза, воровские, шныряющие, щупающие руки, собачья манера нюхать даже воздух.

Это открытие возбудило желчь, злобу. И приступ отчаяния.

Все что угодно с ним, Михайловым, но Люда, сын Миша, Николай Васильевич?!

Он еще не принял решения, но оно уже смутно билось где-то в тайниках мозга, и теперь дверной колокольчик напоминал о сибирской тройке и звенящем ледяном безмолвии.

Чтобы ободрить остающихся, он прощался сдержанно. Даже с сыном.

Карета тронулась. Он рванулся к окну, чтобы посмотреть на окна, но дом уже исчез.

Во рту стало сухо, горько.

И вдруг ударил колокол. Ударил так, что шарахнулись лошади, прохожие торопливо осеняли себя крестным знамением. У Михайлова мелькнула мысль, что он сходит с ума. Но потом он понял, что это зазвонили у церкви — ведь 14 сентября был праздник Воздвиженья.

* * *

Николай Васильевич Шелгунов не мог больше оставаться дома. Стоит ли наводить порядок в разгромленных комнатах?

Он был уверен, что Михаила арестовали по недоразумению, ведь должны были арестовать его, Шелгунова.

На улице тепло,людно, и уже занимается вечерняя заря.

Идти в Третье отделение? Требовать, чтобы освободили Михайлова и взяли его, автора прокламации?

Шелгунов решительно шагает в направлении к Цепному мосту.

Но это только порыв дружбы и акт отчаяния. Ему ли не знать, что такое собственная его величества канцелярия?

Он останавливается у памятника Крылову. Уже поздно, и няни загнали детей домой. Сухие листья шуршат под ногами и не вызывают грусти, наоборот, они шепчут: «Не ходи, не ходи, этот молох заглотит и тебя, но не изрыгнет из своего бездонного чрева Михайлова».

Чернышевский в Саратове, Некрасова нет в столице. А может быть, и их дни уже сочтены. Вечерние тени напоминают черного сыщика Путилина.

К Добролюбову!
Извозчик, скорей!

Николай Александрович умирал, но еще поднимался с постели. Он не верил, что в 25 лет тоже умирают. Добролюбов негодовал на швейцарский горный воздух и молочную сыворотку, от которой ему стало хуже.

Сыворотка была не виновата.

Шелгунов застал Добролюбова в постели. Николай Александрович выслушал его молча, молча пожал руку и натянул на себя одеяло. Ему было холодно в этих теплых сухих комнатах, ему было душно от мыслей, от горечи... Он терял не только близкого друга.

Шелгунов ушел.

Он не помнил, как прошел следующий день. Кто-то заходил, о чем-то расспрашивал. И кто-то привел его вечером в бильярдную в доме графа Кушелева-Безбородко.

Бильярдная вместила почти весь литературный Петербург — здесь набилось около сотни писателей, критиков, поэтов, издателей.

Шелгунов никому, кроме Добролюбова, не рассказывал об обстоятельствах обыска и ареста, но Николай Александрович был здесь, и от Николая Васильевича требовали только уточнения деталей.

Все были страшно возмущены.

После таинственной кончины проклятой памяти Николая I общество отвыкло от арестов писателей, от политических процессов.

То, что крестьянские восстания подавлялись вооруженной силой, то, что в России каждый день, каждый час лилась мужицкая кровь, знали. Негодовали.

И только немногие готовились ответить кровью на кровь. А большинство, отвлекаясь спорами, сражениями с цензурой, жило ожиданием.

Кто-то должен начать!

Но только не они!

Хотя среди сотни литераторов были не только фразеры, но и честные люди. Были и убежденные революционеры.

И возмущение по поводу ареста Михайлова, общее для всех, в спорах обрело разные оттенки.

После продолжительных дебатов решили написать петицию к министру народного просвещения Путятину.

Писали сообща, тут же в билльярдной.

Нет, они не требовали немедленного освобождения Михайлова, хотя и надеялись на это. Они говорили только, что уверены в его невинности. Они очень корректно протестовали против нарушения существующих законов, по их мнению ограждающих каждого русского подданного «от произвольного вторжения полиции в его жилище», и просили о том, чтобы его сиятельство граф исходатайствовал «дозволение назначить к нему [Михайлову] в помощь, по нашему избранию, депутата для охранения его гражданских прав во все время судебно-полицейского исследования поступков, в которых он обвиняется».

Письмо подписали рядом с Добролюбовым — Аполлон Майков, наряду с Петром Лавровым — его сиятельство граф Кушелев-Безбородко и Николай Курочкин по соседству с Краевским.

А на следующий день редакция «Энциклопедического словаря, составленного русскими литераторами и учеными», также высказала свой протест и свои надежды на освобождение и просила дозволить Михайлову и в тюрьме продолжать работу для словаря. Эта последняя просьба как бы выражала уверенность в том, что Михайлов, конечно же, будет освобожден.

Путятин перепугался, когда к нему нагрянули депутаты — Кушелев-Безбородко, А. Краевский и С. Громеко. Министр соизволил принять только графа Кушелева, но обещал ему лишь, что он доложит о возмутительных действиях литераторов министру внутренних дел и управляющему Третьим отделением.

И он действительно доложил.

Император Александр II приказал посадить депутатов под арест. Но потом отменил свое приказание, видимо поняв, что арест повлечет за собою новые петиции.

* * *

Выступление литераторов возымело самое неожиданное действие. В Третьем отделении поняли, что тех бумаг, которые были отобраны у Михайлова при обыске да голословных наветов Костомарова более чем недостаточно для организации солидного политического процесса над поэтом.

Нужно было во что бы то ни стало получить от него признание. А на этом пути все средства хороши.

И все средства были брошены в бой. Всеволод Костомаров 16—17 сентября пишет некому Якову Алексеевичу Ростовцеву и датирует свое письмо 25 августа. С таким же успехом он мог писать Иванову, Петрову — письмо предназначалось для Третьего отделения.

Но трудно совместить предательство с благородством. И Костомаров выдал себя с головой. Он заботливо писал Я. Ростовцеву:

«Дорогой друг Я. Алекс. Дело мое гораздо хуже, чем я предполагал. Брат не только донес на меня, но и захватил кое-какие бумаги, которые я не успел уничтожить. Одна из них писана рукою М. Мих. и может сильно компрометировать его. Ради бога, сходите к П. [Плещееву], узнайте у него адрес М. и поезжайте в Петерб., скажите ему все это. Пусть он примет все меры, какие найдет возможными, и, во всяком случае, уничтожит все до одного экземпляры М. П. Он поймет, в чем дело...»

И это пишется для того, чтобы предупредить? Нет, подобные письма никого не могут обмануть.

* * *

Хотя Михайлов и в недоумении, он не верит в прямое предательство, его беспокоит душевное состояние Костомарова.

Беспокоит его и новая, непривычная обстановка в застенке Третьего отделения. Голые стены, маленький диван, шкаф, два стула и параша.

И допросы.

С ним обращаются вежливо, иезуитски растрavляют рану. Ему не говорят прямо, но с печальной миной намекают на арест или возможность ареста Шелгуновых.

В это «истязание души» поэта включается даже сиятельный граф Шувалов. Он действует напрямик, наскоком:

— Как вы ни запираетесь, а госпожа Шелгунова знала об этом деле. Это мне известно как нельзя лучше.

— Не знала.

— Нет, знала.

— Нет, не знала.

— Нет, знала...

И у кого крепче нервы, кто первый сдаст?

Поэт не сдался.

А в камере ночами — нескончаемая мука.

Шелгуновы, Шелгунова, Людмила!

Тревога ни на секунду не покидает его. Шувалову он говорит «нет», но ведь он-то знает, что и Людмила Петровна и Николай Васильевич самые непосредственные участники «дела». А что, если у Шувалова есть не только подозрения?

Их надо спасти!

Мысль, неосознанно сверлившая мозг еще при аресте, стала теперь девизом. Только этому он должен подчинить свои показания, решает взять всю вину на себя.

В результате 18 сентября — первое признание.

Сдержанное и не дающее следствию каких-либо серьезных улик, показание свидетельствовало только о том, что Михайлов привез из Лондона 10 экземпляров неизвестно кем написанной прокламации «К молодому поколению», показал ее одному Костомарову, а потом сжег.

Костомаров в вопросных пунктах говорил о 150 экземплярах, а во время очной ставки нагло заявил,

что «Михайлов знает все», то есть он в курсе того, кто написал «Барским крестьянам», «Солдатам», «К молодому поколению».

Негодяй постепенно набивал себе цену и трудился, поелику возможно помогая Третьему отделению выбить Михайлова из состояния сосредоточенной сдержанности.

И это им наполовину удалось.

Бессонные ночи.

Красные глаза жандармов.

Пугающие намеки.

Омерзение от присутствия следователя, от встреч с Костомаровым.

Желание покончить скорее со всем этим привело к тому, что Михайлов пишет новое показание.

Он признает себя автором прокламации, но говорит, что от его первоначального текста осталось очень немного, подробно рассказывает о побудительных причинах написания воззвания, а именно о желании смягчить цензурный гнет потоком бесцензурных изданий, наконец, очень правдоподобно описывает, как он распространил свое сочинение. Он мало что прибавил и взвалил на себя главное — авторство и распространение.

Теперь его следователи и мучители могут быть довольны и оставят в покое.

Они в покое не оставили, но Михаил Илларионович стал спокойнее. Он начал замечать, что обеду приносят из какого-то соседнего трактира и притом невкусный. Вспомнил он и о книгах, бывших у него в камере, и даже попробовал заняться переводами.

Но теперь он понял, что наговорил на себя лишнее и не миновать ему суда. А по суду сената — ссылка и, быть может, каторжные работы.

Только теперь он осознал, как иезуитски у него вырвали показания, спекулируя на его благородстве, доверчивости и страхе за друзей, за близких.

А он мог отрицать все.

И эта «история» закончилась бы непродолжительным арестом или, в худшем случае, высылкой из столицы под надзор полиции.

Хотя он еще надеялся.

Его мучители это хорошо понимали и знали об этих надеждах. Им нужны были суд и суровая расправа.

Для того чтобы у Михайлова не было путей отступления, чтобы на суде он не смог отречься от ранее данных показаний, ему предложили написать прошение о помиловании на высочайшее имя, кратко изложить в нем свою вину и уповать на монаршую волю, которая и без суда решит это дело.

Все возмутилось в нем против этого, «но суд страшил меня тем, что к нему будет призван Костомаров и его ответы запутают дело и бросят тень подозрения на кого-нибудь, кроме меня...» — признается он впоследствии в своих «Записках».

Через несколько часов после подачи прошения Михайлову с миной сожаления сообщили, что как Третье отделение ни старалось, но «монаршья воля...». А посему он будет предан суду сената со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Глухая карета доставила его в Невскую куртину Петропавловской крепости.

* * *

«Общество» волновалось. «Общество» негодовало. «Общество» спешило провозгласить Михайлова мучеником, одарить его ореолом борца за правду и... уйти в сторону, забыть.

Прокламацию прочли, сожгли и, рассуждая за сытым обедом о судьбах России, осудили.

Ее даже назвали кровожадной. Подумать только: 100 тысяч помещиков под мужицкий нож. Это уж слишком. Остальное поняли плохо, узрели компиляцию искандеровских статей и качали головами.

Люди, близко знавшие поэта, знавшие Людмилу Петровну Шелгунову, но не знавшие революционных настроений поэта, считали, что Михайлов совершил подвиг во имя любви, и сквозь строки прокламации разглядывали черты характера Шелгуновой.

Даже Елена Штакеншнейдер, так тепло, так искренне относившаяся к Михайлову, записала в свой дневник: «Меня потому берет раздумье насчет Шелгуновой, что михайловская прокламация неглубока, слишком неглубока. В ней как-то больше желания *руку правую потешить*, чем высказать истину. Я не говорю про Михайлова, — человек, давший на подобное дело свое имя, достоин всякого уважения, — но меня удивляет то, что вдвоем они не сумели написать ничего лучше... прокламация холодна, неубедительна, не «прочувствованна»...»

Но как ни старалось «общество» благонамеренных либералов и фрондирующих литературных дам забыть о Михайлове, участь которого теперь была всем ясна, о нем напоминали события. О нем ни на минуту не забывали единомышленники. Его имя не сходило с уст даже тех, «кто не прочел ни одной его строчки. Да и какие тут строчки!» — вспоминает Шелгунов. «В воздухе чувствовалось политическое электричество, все были возмущены, никто не чувствовал даже земли под собою, все чего-то хотели, куда-то готовились идти, ждали чего-то, точно не сегодня, а завтра явится неведомый мессия... Каждый точно чувствовал в Михайлове частичку себя, и процесс его стал личным делом всякого. Карточки его покупались нарасхват...»

Он обращался к молодому поколению, он возлагал на него надежды, звал к делам, к борьбе. И правительство с опаской посматривало на «поколение».

Откликнется ли?

И всем показалось, что откликнулось. Да еще как!

Шествия по столице возмущенных «новыми университетскими правилами» студентов Михайлов не видел.

Не видел он и как избивали людей в университетском дворе. Не слышал плача профессоров.

Но он узнал, что Петропавловская крепость до отказа забита арестованным «молодым поколением».

И снова вспоминают о Михайлове. «Ведь до сво-

его ареста он был головою всех этих «длинногривых», «университетских», — шепчут обыватели.

«Даром, что ли, когда его брали — стрелял, чуть жандармского полковника не убил — пуля между левым боком и рукой прошла, перегородку прошила да самовар на комодѣ искорежила», — с апломбом сообщает жене почтовый чинуша.

В купеческом и немецком клубах шумно — обсуждают новость об отравлении Михайлова опиумом в Третьем отделении и тайном захоронении без вскрытия.

И какие бы ни произошли в Петербурге события, нарушающие привычный, ленивый ход жизни, их тотчас молва связывает с именем Михайлова.

Как ни старалось Третье отделение скрыть причину ареста Михайлова, исход следствия, они очень скоро стали известны в столице.

«Автору» прокламаций пытались подражать. Во время студенческих беспорядков командиру Преображенского полка и нескольким офицерам была прислана рукописная прокламация, в которой с сарказмом изображалось участие солдат этого «первого полка русской армии» в избиении студентов:

«Вы пошли в штыки против невооруженной толпы, стоящей за глупое дело, «образование»! Зачем нам образование? Нам нужны дисциплина, монархизм, мрак невежества: при таком порядке мы будем первые. Будем поддерживать власть, гнетущую народ, — она позволит нам угнетать других; тогда мы покажем, что значит русское войско!.. Потомство сохранит в памяти день 12 октября. Да будут ослиные уши вечным украшением вашим, как эмблема упрямства, тупости и невежества, за которые вы хотели пролить верноподданническую кровь нашу...»

Среди отцов-командиров переполох. В Третьем отделении сличают почерки, а по Петербургу гуляет молва: «Кому же написать такое? Ведомое дело — Михайлов, его стиль. Небось и в крепости успел найти сообщников-злоумышленников».

И радуются друзья. Михайлов, быть может и сам о том не думая, сделался знаменем, которое

вспыхивает над головами тех, кто встает в ряды борющихся с мраком невежества, монархизмом, холопским верноподданничеством перед кнутом божьей милостью владык «голштино-татарского племени».

* * *

Каждые четверть часа играют куранты. «Коль славен» чередуется с «Боже, царя храни». Бесстрастно, монотонно, торжественно. По их ударам можно следить за временем, но нельзя установить приближение утра или наступление вечерних сумерек. В сырой, с бахромой паутины камере свои законы смены дня и ночи. Сквозь полукруглые, вдавленные глубоко в ниши и покрашенные белой краской окна утренний свет проникает только в 10 часов, а к 3 часам дня, будто устрашась приземистых, длинных склепов узилища, спешит подальше от Петропавловки.

Всю ночь горит ночник, и круглые сутки в коридоре выбивают каменный пол тяжелые шаги.

Писать не хочется, да и бумаги комендант генерал Сорокин выдал только один лист.

Четыре-пять светлых часов Михайлов забывается чтением, потом наступает время тяжелых раздумий.

И все же после Третьего отделения здесь спокойнее, легче.

По бою курантов в камере появляются вода для умывания, чай, обед и ужин, заходят плац-адъютант, комендант, сторожа.

Но к этому узник привыкает быстро.

Тревожит отсутствие вестей с воли.

Хотя он просто еще не приспособился добывать вести косвенным путем из слов сторожей, случайно долетающих до него обрывков разговоров. Ведь когда его везли сюда, жандарм же рассказывал о студенческих беспорядках. Как он сказал?

— Да ведь там целый бунт был. Войско надо было вывести. С окровлением дело-то было, с окровлением...

С «окровлением»!

Теперь он припоминает и слова принимавшего его в крепость стража:

— Тоже из студентов?

Значит, в крепости сидят участники студенческих беспорядков.

Может быть, они первые ласточки тех грядущих бурь, которые с таким нетерпением он ожидал на воле, которые как умел готовил.

И кто знает, быть может, эти смерчи разметаю каменные глыбы его темницы?

Как хочется верить! Пусть даже он не доживет до светлых дней. Но знать сейчас, что буря идет, тогда можно и пасть в неравном бою.

Михайлов схватывает единственный лист бумаги.

Смело, друзья! Не теряйте
Бодрость в неравном бою.
Родину-мать защищайте,
Честь и свободу свою!
Пусть нас по тюрьмам сажают,
Пусть нас пытаются огнем,
Пусть в рудники посылают,
Пусть мы все казни пройдем!
Если погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых, —
Дело, друзья, отзовется
На поколениях живых.
Стонет и тяжело вздыхает
Бедный, забитый народ;
Руки он к нам простирает,
Нас он на помощь зовет.
Час обновления настанет —
Воли добьется народ,
Добрым нас словом помянет,
К нам на могилу придет.
Если погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых, —
Дело, друзья, отзовется
На поколениях живых.

* * *

Вот и первый снег побелил маленький голый комендантский дворик, осел на форточке и усилил грусть.

Но скоро из того, не крепостного, мира пришли первые вести в виде папирос, рябчиков, отличной икры, солений.

Михайлов радовался, как ребенок. Он не был таким уж гурманом, чтобы не есть тюремной похлебки, но рябчики, несомненно, вкуснее, да дело и не в них — его не забыли, чьи-то заботливые руки упаковывали для него эти банки с икрой, чьи-то любящие души напоминали о жизни, о том, что она впереди и не огорожена стенами.

Да и тюремщики оказались разными, не то что в императорской канцелярии. Комендант — формалист, сух, педантичен. Плац-майор Кандауров любезен, разговорчив, душевен. Он уверен, что Михайлова скоро выпустят.

Какое счастье, что с ним его книги и есть возможность получать свежие журналы!

Даже «Современник» добирается сюда. Вот сентябрьский номер, октябрьская книга. Он узнает статьи Чернышевского. Значит, Николай Гаврилович вернулся из Саратова и на свободе, его не коснулась грязная лапа Костомарова.

Но почему в последних номерах нет статей Добролюбова? Он был плох, когда Михайлов видел его в последний раз.

Он умирает, и этого ничем не предотвратить.

От таких мыслей опять становилось тяжело.

Но были, были в этом заточении и радостные минуты, даже дни.

Ему удалось сблизиться с плац-адъютантом Пинкорнелли, и добрейший штабс-капитан наладил доставку писем на волю и с воли.

Теперь у него много работы.

Михайлов лихорадочно пишет и пишет письма, и прежде всего Шелгуновой.

В эти же дни его начали возить в первое отделение пятого департамента сената на допросы.

У Михаила Илларионовича было время рассмотреть своих судей, пока ему делали «духовное увещание» и поп нес какую-то дичь из евангелия.

Сенаторы напоминали «позолоченных бурханов».

Из-за длинного стола на Михайлова смотрели хитрые, злобные, равнодушные и просто пустые лица.

Бесконечные вопросы. Вновь нужно было не только отвечать, но и собственноручно записывать эти ответы, и все это при полном молчании или злобном сопении судей.

Но у ворот Галерной, на лестницах сената, во дворе Михайлов отдыхал душой. Он понимал, что толпы молодежи, и не только молодежи, собрались здесь ради него.

Приветственные улыбки, слова одобрения, возгласы восхищения заливали грудь теплым чувством гордости за этих людей, позволяли переносить пытку допросов, ненависть судей, одиночку крепости.

Даже сенатские чиновники проявляли необычайное любопытство к человеку, давшему первым свое имя политическому процессу в эти годы «либеральничанья» правительства. Они выскакивали из своих кабинетов, собирались сотнями в коридорах и молча тянулись на носках, чтобы разглядеть поэта.

Это был какой-то почетный эскорт.

Михайлов только усмехался, проходя сквозь строй.

* * *

17 ноября умер Добролюбов. Михайлов узнал об этом из письма Шелгуновой. Ушел из жизни друг, большой, чуткий, верный.

Мучительно переживал Михайлов эту кончину. Она заслонила его собственные горечи и тревоги.

20 ноября Литейный забит народом. Молодежь хоронит своего кумира. Без цветов, без венков. Простой дубовый гроб зловеще напоминает о неумолимой смерти в этот хмурый ноябрьский день.

На Волковом кладбище надгробные речи звучат, как на митинге. Чернышевский напоминает собравшимся, чем для всех передовых людей России был Добролюбов, напоминает о подлинной причине смерти великого критика. Он говорит:

— Но главная причина его ранней кончины состоит в том, что его лучший друг — вы знаете, господа, кто — находится в заточении.

Да, господа знали этого «лучшего друга», знали

они уже и о том, что сенат приговорил его к каторге, хотя приговор еще не объявлен публично.

И тут же, на кладбище, у могилы усопшего борца, собирают деньги для другого воина революции, которому предстоит медленно умирать в страшных каторжных рудниках.

20 ноября внезапно Михайлова перевели из Невской куртины на главную крепостную гауптвахту. Оказалось, что испугались возможности общения со студентами.

Хотя в этот день ему было все равно.

Он мысленно был там, на Литейном, в доме Юргенева, откуда уходил в свой последний путь Добролюбов. Он шел за его гробом на кладбище, и он тоже сказал свое последнее прощание. Оно вылилось в стихах:

Вечный враг всего живого,
Тупоумен, дик и зол,
Нашу жизнь за мысль и слово
Топчет произвол.
И чем жизнь честней и чище,
Тем нещаднее судьба!
Раздвигайся ты, кладбище!
Принимай гроба!
Гроб вчера, и гроб сегодня,
Завтра гроб... А мы стоим
Средь могил и — «власть господня»,
Как рабы, твердим.
Вот и твой смолк голос честный,
И смежился честный взгляд,
И уложен в гроб ты тесный,
Отстрадавший брат.
Жаждой правды изнывая,
В «темном царстве» лжи и зла
Жизнь зачала молодая,
Гнета не снесла.
Ты умолк; но нам из гроба
Скорбный лик твой говорит:
«Что ж молчит в вас, братья, злоба?
Что ж любовь молчит?
Иль в любви одни лишь слезы
Есть у вас для кровных бед?
Или сил и для угрозы
В вашей злобе нет?
Братья, пусть любовь вас тесно
Сдвинет в дружный ратный строй,
Пусть ведет вас злоба в честный

И открытый бой!»
Мы стоим, не слыша зова...
И, как прежде, дик и зол —
Тризну мысли, тризну слова
Правит произвол.

И, обращаясь к друзьям, приписал:
«Стихи эти невольно сложились у меня в голове
вечером в день похорон бедного Бова¹, и я записал
их, чтобы откликнуться из своей клетки на общее на-
ше горе. Сообщите их друзьям покойника. Они не
станут искать в них эстетических красот, как не
искал бы он сам, но, верно, найдут чувство, похо-
жее на свое. Бедный, бедный Бов; мне так и пред-
ставляется его доброе прекрасное лицо со слезами
на щеках. Да, умирать в такие годы горько».

* * *

Он не знал, через кого к нему в камеру попали
стихи.

Это не было послание с воли. Студенты, сидевшие
тут же, в Петропавловской крепости, прослышав о за-
ключении в нее Михайлова, приветствовали своего
учителя и друга:

УЗНИКУ

Из стен тюрьмы, из стен неволи
Мы братский шлем тебе привет.
Пусть облегчит в час злобной доли
Тебя он, наш родной поэт!
Проклятым гнетом самовластья
Нам не дано тебя обнять
И дань любви и дань участия
Тебе, учитель наш, воздать!
Но день придет, и на свободе
Мы про тебя расскажем все,
Расскажем в русском мы народе,
Как ты страдал из-за него.
Да, сеял доброе ты семя,
Вещал ты слово правды нам.
Верь — плод взойдет, и наше время
Отмстит сторицею врагам.
И разорвет позора цепи,
Сорвет с чела ярмо раба,
И призовет на снежной степи
Сынов народа и тебя.

¹ Литературный псевдоним Н. А. Добролюбова.

Михайлов долго смотрит в форточку, хотя знает, что на комендантском дворе сейчас никто не гуляет. Он должен ответить, но прежде необходимо хоть немного успокоиться. Мало того, что студеты вспомнили о нем, прислали стихотворный привет, называют его своим «учителем», «родным поэтом», они уверены в том, что его скромные труды на поприще революционной борьбы дадут свои плоды и молодое поколение «отмстит сторицею врагам».

Михайлов уже за столом.

Строки легко ложатся на бумагу:

Крепко, дружно вас в объятья
Всех бы, братья, заключил
И надежды и проклятья
С вами, братья, разделил.
Но тугая сила злобы
Вон из братского кружка
Гонит в снежные сугробы,
В тьму и холод рудника.
Но и там, назло гоненью,
Веру лучшую мою
В молодое поколенья
Свято в сердце сохраняю.
В безотрадной мгле изгнания
Твердо буду света ждать
И души одно желанье,
Как молитву, повторять:
Будь борьба успешней ваша,
Встреть в бою победа вас,
И минуй вас эта чаша,
Отравляющая нас.

«Спасибо вам за те слезы, которые вызвал у меня ваш братский привет. С кровью приходится отрывать от сердца все, что дорого, чем светла жизнь. Дай бог лучшего времени, хотя, может, мне и не суждено воротиться».

* * *

7 декабря его снова и в последний раз ведут в сенат. И снова на улицах, во дворе, в коридорах полным-полно народа. Его больше, чем при прошлых привозах Михайлова в это судилище.

Сегодня ему прочтут окончательный приговор. Сенат в своем определении еще в ноябре торжест-

венно решил, «не подвергая смертной казни, определенной за преступления этого рода, сопровождавшиеся вредными последствиями, лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на 12 лет и 6 мес., а по прекращении сих работ, за истечением срока или по другим причинам, поселить в Сибири навсегда; но предварительно исполнение сего приговора внести оный на высочайшее усмотрение...»

Высочайше было усмотрено:

«Срок каторжной работы ограничиваю шестью годами, а в прочем быть по сему».

Сенаторы стоят на вытяжку. На мордах — собачья преданность, величайшее почтение и благоговение. Михайлов скрестил руки на груди и улыбается. Нет, ему, революционеру, не пристало кланяться или отчаиваться перед лицом этих прислужников кровавого престола.

В прихожей толпа. Чиновники исподтишка жмут руку. Доктор Боков, добрый знакомый, рванулся вперед, чтобы попрощаться.

И вдруг родные, знакомые голоса:

— Михаил Илларионович, прощайте!

Варенька и Маша, сестры Людмилы Петровны. Объяты, слезы, поцелуи.

У подъезда опять приветствия, по рукам ходят карточки Михайлова.

* * *

Теперь впереди Сибирь, каторга. Поп напутствует Михайлова на новую жизнь, петербургский генерал-губернатор Суворов приезжает прощаться и решает свидание с друзьями.

Друзья спешно покупают возок, чтобы Михаил Илларионович не подвергся страшной участи пройти 8 тысяч верст пешком, закованным в кандалы.

Шьют ватник, в который в шахматном порядке зашивают деньги, деньги закладывают в переплет евангелия, в подкладку теплой шапки.

Но друзья не знают, что палачи уготовили их другу позорную гражданскую казнь и назначили ее на утро 14 декабря, ровно в 36-ю годовщину восста-

ния декабристов, к памяти которых взывала прокламация.

О казни молчали газеты, и узник не мог предупредить друзей.

* * *

Рано-рано утром 14 декабря в камере Михайлова палач с ножницами и кузнец с кандалами.

Его остригли по-каторжному — полголовы, а кузнец тем временем заклепывал кандалы. Что-то у него не ладилось, и присутствовавший при этой отвратительной церемонии плац-адъютант И. Пинкорнелли не выдержал.

Михайлов видел, как плачет «добрый и милый» Пинкорнелли, но у него самого не было в душе слез. Вспомнился Петрашевский: его ведь заковывали прямо на площади у позорного столба. И когда кузнец не мог загнать клепку, Петрашевский отобрал у него молоток, уселся на помост эшафота и быстро справился с кандалами.

Петрашевский! Он жив, и, возможно, они встретятся, встретится последний каторжник николаевских дней с первым каторжником Александра-«освободителя».

Шесть часов утра. Морозная дымка висит над Петербургом. На улицах не видно людей. Михайлов мерзнет в серой арестантской шинели. Ему неловко сидеть спиной к кучеру на громыхающей «позорной колеснице».

Повозку окружают три взвода казаков. Процессия подъезжает к площади, где высится черный эшафот.

Михайлова ставят на колени, чиновник, шепелявя, читает приговор.

Михаил Илларионович вглядывается в небольшие кучки народа, стекающие к площади. Нет, среди них не видно друзей, нет и студентов. Это просто рабочий люд, поднятый затемно необходимостью добывать себе кусок хлеба.

Что-то там читает чиновник? Хотя все равно. Опять вспомнились петрашевцы. Плещеев рассказывал о страшных минутах, проведенных ими у позорного столба в ожидании казни.



Почему-то подумалось о том, что вот и Плещеев жив и снова в Москве, а Достоевский в столице. Быть может, и он недолго пробудет в рудниках.

Последний взгляд на Петербург — когда-то он его увидит вновь, да и увидит ли? Последний поиск друзей, но их нет. В толпе о чем-то громко разговаривают, видимо судачат: кого, за что, на сколько?

Над головой что-то хрустнуло, это палач сломал подпленную шпагу.

А вечером самый радостный миг за эти три с половиной месяца.

Генерал-губернатор Суворов сдержал слово. Михайлов вновь в объятиях Шелгуновых, а рядом ждут своей минуты Полонский, Пыпин, Пекарский, Некрасов, Чернышевский, Александр Серно-Соловьевич, Гербель.

Они притащили ворох теплой одежды и ворох новостей. Ему на ухо объясняют, где защиты деньги, — ведь каторжнику их не положено иметь при себе.

Поздно вечером под усиленным конвоем, опасаясь, что студенты попытаются отбить узника, Михайлова перевезли в Шлиссельбург.

* * *

Тяжелая, мучительная дорога, ухабы, рытвины, метели, скверная еда и пьяные ямщики, местные самодуры, насекомые на пересыльных пунктах и почтовых станциях, и так день за днем, день за днем — 18 дней до Тобольска.

В Тобольске полная перемена обстановки, как будто он попал в иную страну с иными людьми, нравами, законами. Разбиты кандалы. В тюремном замке двери настежь. К нему ездят с визитами, несут ему в 40-градусный мороз живые розы.

Ему посылают свежие газеты и журналы, и, наконец, его буквально разрывают на части вице-губернатор Соколов, губернский прокурор Жемчужников, управляющий комиссариатской конторой Ждан-Пушкин, учителя, доктора.

Они хотят, чтобы Михайлов обязательно присут-

ствовал на банкетах и обедах, устроенных в его честь.

И он присутствовал, он отогревался душою в сибирский трескучий мороз.

Месяц провел поэт в приветливом городе. Потом снова в путь.

Тобольск как бы открыл сердца тех, с кем Михайлов встречался в своей нелегкой дороге по Сибири.

В Томске картина повторилась, хотя он задержался всего на один день.

В Красноярске несколько приятных сюрпризов. Во-первых, капитан-лейтенант Сухомлин, командир клипера «Стрелок». Это он разрешил Бакунину пересест с клипера на купеческое судно и отбыть в Японию, оставив с носом сибирское начальство, жандармов, Третье отделение.

А потом пришел Михаил Васильевич Петрашевский. Встретились! Встретились бывший каторжник и только что осужденный на каторгу. Проговорили целый день, остались довольны друг другом, хотя в представлении Михайлова образ Петрашевского несколько потускнел, затянулся тиной местных интересов, интриг, сплетен. Михайлов считал, что революционер должен мыслить шире, видеть дальше и бороться с общей несправедливостью, высшим произволом.

В Иркутске новые встречи и снова с петрашевцем — Львовым.

Иркутские власти были более суровы, они еще не оправились от головомойки, полученной за бегство Бакунина. Но это не мешало местным дамам забрасывать Михайлова цветами, за баснословные деньги скупать его фотографии.

И, наконец, он прибыл на место, в Нерчинск.

Неподалеку, на Казаковском золотом промысле, служил горным инженером его брат Петр. Свидание было радостным и грустным. Но Петр заверил, что Михайлову нужно только для исполнения формальностей побывать в Нерчинском руднике, а потом его возьмут на Казаковский прииск.

Так оно и было.

* * *

И опять проблеск счастья, пьянящий миг. К нему, в глубину «сибирских руд», приехали «любовь и дружба» — Шелгуновы со всем семейством. Преобразился дом на Казаковском прииске. Людмила Петровна быстро сумела сделать его уютным. Молодые инженеры, побросав вино и карты, осаждали Казаково. И снова вечерами, как бывало когда-то у Штакеншнейдеров или в салоне Шелгуновой, звучит Шопен; его сменяют звуки сонаты Бетховена. Смолкает музыка, и дом наполняется неумолчным хором голосов. И опять, как когда-то, смеется Михайлов — молод, задорно.

Михайлов написал «Записки» специально для Людмилы Петровны. Они застали ее в Петербурге и вернулись с нею в Казаково. Он читал собравшимся гостям отрывки из них.

Но обычно чтение наполняло грустью уютные комнаты. Михайлов не любил вспоминать о Третьем отделении, сенате, встречах с тюремщиками. Зато как часто вспоминал он о каторжниках, гниющих в острогах, умирающих на пересыльных этапах женщинах и детях, партиях разоренных казаков-переселенцев, о колоритных фигурах бунтарей-крепостных, не смирившихся и в неволе и убегающих куда глаза глядят по первому весеннему зову кукушки. Часто чтение внезапно обрывалось: у поэта сжимались кулаки, и он подавался всем телом вперед, как бы грудью идя на врага.

Михайлов задумал и начал набрасывать «Сибирские очерки». Но пока у него не было достаточного материала, только наблюдения, сделанные по пути в Сибирь. Он сам еще не столкнулся с каторжным трудом в рудниках, хотя знал о нем с детства. И он еще не спускался в мокрые штольни и не глотал горько-соленый пот. Писать же о том, что только видишь, но в чем не участвуешь, он не мог, да и не хотел, зная, что ему не избежать тяжелой доли.

Недолго длилось счастье. Однажды, месяца через два после приезда Шелгуновых, прискакал вер-

ховой казак с эстафетой к Петру Илларионовичу Михайлову.

Сосланный кавказский князь Дадешкалиан писал: «Через Байкал я переезжал на пароходе с жандармским полковником Дувингом, который едет в наши места. Зная, что у вас живут какие-то гости из Петербурга, счел нужным предупредить вас. Князь Дадешкалиан».

Сомнений в цели поездки жандарма быть не могло.

И снова жгутся бумаги, прячутся письма. Михайлова спешно устраивают в больницу, над кроватью вешают казенную дощечку с надписью.

Дувинг привез приказы об аресте Шелгунова и его жены «по высочайшему повелению». Пока он должен препроводить их в Верхнеудинск, в острог.

И хотя этого ожидали, все же известие было столь тяжелым, что Людмила Петровна слегла. У нее отнялись ноги. И как ни бесился Дувинг, как ни старался выполнить приказ, ему пришлось пока ограничиться перевозом Шелгуновых в соседнюю, Ундинскую слободу.

Теперь уже Михайлов, «внезапно поправившийся», навещает своих дорогих друзей. Деньги служат ему пропуском к ним.

Но и это призрачное счастье длилось недолго. Прибыл новый приказ — Шелгуновых увозили в Иркутск.

Прощались тепло, с надеждой на встречу. Но прощались навсегда.

* * *

В Петербург слетались доносы о «послаблениях, оказанных государственному преступнику Михайлову». К ответу призваны вице-губернаторы, полицеймейстеры, комиссары.

Михайлов живет как частное лицо у своего брата? Это послабление, его место среди каторжан, добывающих золото, руду.

Михайлова бросают в Зерентуйский острог, потом в Кадаинский рудник.

Серебряно-свинцовые рудники и каменный гроб

острога — больше ничего. Каторжники и солдаты. В душевных отделениях острога, где люди проводят ночь, стоит страшная вонь, слышатся бред больных, стоны умирающих, вскрики спящих, когда им вдруг приснится воля.

Под нарами, на кирпичном полу за ночь примерзают сапоги.

Свинцовые отравления вызывают чахотку, отвратительная баланда ускоряет приход цинги.

Умирают сотнями. Мертвецы забивают амбары, их не успевают хоронить. Особенно быстро умирают поляки — участники восстания 1863 года. Они не могут перенести сибирского холода и царской каторги. Михайлов часто видел, как их «клали поленницами, как дрова. Мертвых объедали крысы и мыши, прежде чем их успевали «валом» зарыть в разрезе же, где они работали».

Как часто он теперь вспоминает обращенные к нему стихи Огарева. Их привезла Шелгунова:

Закован в железы с тяжелою цепью,
Идешь ты, изгнанник, в холодную даль,
Идешь бесконечною, снежною степью,
Идешь в рудокопы, на труд и печаль.
Иди без унынья, иди без роптанья,
Твой подвиг прекрасен, и святы страдания.

Его «Сибирские очерки» наполняются слезами и кровью. И его слезами и его кровью, но в них и страстная вера в грядущую революцию, во всенародное восстание. Искра таится в столах истязуемых невинных людей, она в гневном протесте беглого, уходящего в ледяное безмолвие на верную гибель, но гибель под свободным небом воли и даже в вызове самоубийства.

К нему в подземелье шахт дошел бодрый привет друга и соратника — Петра Лаврова:

С Балтийского моря на Дальний Восток
Летит буйный ветер свободно;
Несет он на крыльях пустынный песок —
Несет вздох тоски всенародной...
Несет он привет от печальных друзей
Далекому, милому другу...
Несет он зародыши грзсных идей

От Запада, Севера, Юга...

И шепчет: «Я слышал, в полях, городах
Уж ходит тревожное слово;

Бледнеют безумцы в роскошных дворцах...
Грядущее дело готово.

Над русской землею краснеет заря;

Заблещет светило свободы...

И скоро уж спросят отчет у царя

Покорные прежде народы...»

Нет, его не сломили страдания. Он слышит живые вести из далекого мира. И он шлет в этот мир свое слово, свои надежды. Он страдает оттого, что в 1863 году не произошло, как он ожидал, всеобщего восстания и что начался спад революционной волны. Его злит, что гневные крики бунтующего народа заглушает либеральное сюсюканье по поводу проектов о «совещательной земской думе», новом «положении» о земских организациях.

Он не верит в них, не верит в реформы, пожалованные свыше. Он зовет к борьбе.

Отсюда, из далекой Сибири, Михайлов может бороться только словом. Его стихи, его статьи, очерки находят дорогу в столицу. Под псевдонимами стараниями друзей они появляются в печати.

Сколько нужно было иметь сил, веры, мужества, чтобы бороться с отчаянием. И не всегда, не каждый раз он выходил победителем.

Оно иногда прорывалось. Но это не было отчаяние человека, обреченного на смерть каторжным режимом. И скорбел он тоже не о себе.

Михайлов вновь и вновь обращался к молодому поколению. Он ждет от него не слов, а дел. Дел! И, не видя этих дел, клеймит поколение. Это стон сердца, сдержанный, страстный, и даже в стоне слышится надежда:

Иль все ты вымерло, о молодое племя?

Иль немочь старчества осилила тебя?

Иль на священный бой не призывает время?

Иль в жалком рабстве сгнить — ты бережешь себя?

.....

Иль в жертвах и крови геройского народа,
В его святой борьбе понять вы не могли,

Что из-за вечных прав ведет тот бой свобода,
А не минутный спор из-за клочка земли?

Иль тех, кто миру нес святое вдохновенье,
Ведет одна корысть и мелочный расчет?
Кто с песнью шел на смерть и возбуждал движенье,
В мишурное ярмо покорно сам идет?
И за стеной тюрьмы — тюремное молчанье,
И за стеной тюрьмы — тюремный звон цепей;
Ни мысли движущей, ни смелого воззвания,
Ни дела бодрого в родной стране моей!

Так часто думаю, в своей глуши тоскуя,
И жду, настанет ли святой, великий миг,
Когда ты, молодость, восстанешь, негедуя,
И бросишь мне в лицо название: клеветник!

* * *

Кончался август 1864 года. Больной Михаил Илларионович лежит на узкой жесткой койке лазаретного отделения Кадаинского рудника. Лазарет неусыпно охраняется военным караулом. У Михайлова что-то с почками и очень болит сердце. Лекарь не уверен, но ему кажется, что это начало брайтовой болезни. Она здесь не гостья, а хозяйка. Михаил Илларионович чувствует, что это так. С такой болезнью в больнице, в мучениях он еще сможет протянуть полгода, ну, год, но никак не больше.

А если уйти опять в острог, на рудники, хотя уже по зачету каторжника третьей категории вышли его сроки пребывания на работах, тогда через месяц-два болезнь сделает свое черное дело.

Стоит ли тянуть? За этот год жизни он не успеет окончить начатого романа «Вместе» — романа о себе, о Людмиле, о новых людях, их любви, дружбе, революционной борьбе.

Нет, он не хочет умирать. Лекарь мог и ошибиться.

Михайлов, обессиленный больными мыслями, засыпает.

Его разбудил шум отодвигаемой кровати, потом возглас радости. Он не успел еще совсем проснуться и понять, кто это его обнимает, целует.

Господи, наваждение! Николай Гаврилович Чернышевский!

Нет, конечно, он бесконечно счастлив видеть друга, учителя, и какие теперь могут быть мысли о смерти! Но он и радуется и плачет — Чернышевский на каторге! Значит, погибло все. Значит, кровавый «освободитель» и на сей раз торжествует победу.

У Чернышевского признаки цинги и что-то очень плохо с сердцем.

Первый порыв прошел. Чернышевский расстроен. Михайлов не может понять чем.

Николай Гаврилович, уловив момент, говорит Михайлову, что на людях, на глазах у стражи, зрителей он должен сторониться Михайлова, чтобы не повредить ему, выходящему на поселение. Михайлов бурно протестует. Он готов разделить с Чернышевским его участь.

Но Николай Гаврилович знает, что для него уготовлен особый режим. И он не хочет быть причиной несчастий друга. Тот вынес достаточно. Теперь речь идет о его жизни. А его жизнь еще пригодится новому поколению борцов.

Они беседуют только с глазу на глаз. Николай Гаврилович рассказывает о «Земле и воле», о «Казанском заговоре студентов». Он привез «Что делать?», и Михайлов тайком зачитывается романом. Он потрясен. Лопухов, Кирсанов, Вера Павловна... Роман напоминает ему о счастливых днях, о соратниках. Ведь Вера Павловна — это и Ольга Сократовна и Марья Александровна Бокова, сестра Обручева, да в ней и от Людмилы, Людмилы Шелгуновой много, очень много взято.

И этот роман написан в крепости?

Да, и в крепости Николай Гаврилович остался непоколебим в своих социалистических идеалах, не пошатнулся, уверенный в грядущей победе.

Михайлова точно подменили. Болезнь отошла в сторону. Он готов работать и работать. Чернышевский подсказывает тему.

Пусть это будут научно-популярные очерки о пер-

вобытных людях «За миллионы лет...», «За пределами истории».

Михайлов пишет с увлечением юноши. Чернышевский для него неисчерпаемый источник познаний в антропологии, истории религии, атеизма, материализма. И очерки получаются материалистические. Они развеивают мистику, поповщину, социальную ложь. Чернышевскому они определенно нравятся. И написаны страстно, образно.

Через полгода Николай Гаврилович немного поправился и из больницы был переведен в острог. А Михаилу Илларионовичу стало вдруг хуже.

Он еще крепился, но болезнь прогрессировала.

Об этом узнал Петр Илларионович. Он пострадал тогда за брата, за гостеприимство, оказанное Шелгуновым. Но теперь, когда Михаил умирает, его должны отпустить к нему.

Его не пускали долго.

Даже Чернышевского стража перестала впускать в лазарет к умирающему другу.

Михайлову мстили до последнего часа его жизни.

Петр приехал в июне 1865 года. Он несколько раз посетил брата. И, казалось, болезнь отступила. Но ненадолго.

В ночь со 2 на 3 августа Петра Илларионовича разбудил лазаретский служитель:

— Отходит ваш братец-то!

Петр бросился в лазарет. Но страже было «не велено пущать». Петр Илларионович взбесился. Он кинулся домой, схватил револьвер... и вот он уже возле койки умирающего. Тот перед самой смертью пришел в сознание и, не понимая того, что умирает, удивился, увидев слезы на глазах Петра.

— О чем ты плачешь? Ведь я не умираю еще, правда, ведь я не умираю?

Потом наступило полузабытье, и Михайлов уже никого не узнавал. Он твердил одно:

— Петр, Петр!

В дверях лазарета появился Чернышевский, без пальто, без шапки.

Он опоздал.

Михайлова не стало.

Обратно Петр Илларионович выходил с бумагами брата в одной руке и револьвером в другой.

Эти бумаги, как и все остальное, поэт завещал Мише, а значит, и Людмиле Петровне Шелгуновой.

* * *

Большая деревня в три длинные улицы втиснулась в глубокую мрачную котловину. С обеих сторон ее теснят темные громады гор. Одним концом деревня упирается в сопки, в болотистую долину, над которой отвесной стеной нависает гигант утес.

У подножья утеса множество крестов, могильных холмиков почти не видно.

Немного особняком могилы поляков-повстанцев. И рядом с ними простой деревянный крест. Он стережет маленький кусочек земли, где покоится прах поэта-революционера Михаила Илларионовича Михайлова.

